

# Гектор Мало

## В семье

### Глава I

У Берсийской заставы, как это часто бывает по субботам в середине дня, скопились деревенские экипажи. Повозки с углем, телеги с бочками, возы с сеном и соломой длинным хвостом тянулись в четыре ряда вдоль набережной, дожидаясь акцизного досмотра и торопясь поспеть в город накануне воскресенья.

Среди этой вереницы выделялась странная, смешная и даже жалкая на вид повозка, напоминающая фуру странствующих комедиантов, да и то из самых немудрых: на легкий деревянный остов-раму натянут был грубый холст, верх сооружен из просмоленного картона, и все это катилось на четырех низких колесах.

Прежде, видимо, холст был выкрашен в голубой цвет, но со временем он так истерся, засалился и обтрепался, что о его первоначальном цвете оставалось только догадываться. Надписи на четырех сторонах фуры тоже можно было скорее разгадать, чем прочитать: от первых трех надписей — на греческом, немецком и итальянском языках — остались лишь последние две-три буквы, но четвертая, сделанная по-французски, еще почти новая, красовалась полностью: *photographie*. По этим надписям, как по багажным ярлыкам, можно было определить, через какие страны пролегал путь старенькой повозки.

В фуру был запряжен осел. С первого взгляда казалось невероятным, чтобы это существо могло притащить повозку из таких дальних краев: до такой степени ослик был тощ. Но, приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что чрезмерная худоба его была лишь следствием усталости и голода. Несмотря на все эти невзгоды, породистое животное, с шерстью пепельного цвета, с черными полосами на тонких стройных ногах, стояло, бодро подняв голову, с плутоватым, даже, пожалуй, озорным блеском в глазах. Сбруя его была вполне под стать экипажу: вся перештопанная и связанная во многих местах веревками; впрочем, ее почти не было видно, потому что спину осла почти сплошь закрывали ветви, нарезанные по дороге для защиты его от солнца.

За осликом присматривала девочка лет одиннадцати, сидевшая неподалеку на краю тротуара.

Внешность девочки была довольно необычной. Смуглый цвет лица резко контрастировал со светлыми волосами. Черты ее лица свидетельствовали о кротости и мягкости, но взгляд продолговатых черных глаз был серьезен, а очертания рта решительны. Поза девочки была свободна, непринужденна. Фигура под жалкой поношенной кофточкой некогда черного, а теперь какого-то неопределенного цвета казалась гибкой истройной. Крепкие ноги прикрывала нищенская рваная юбка.

Осел стоял как раз за высоким возом сена. Уйти он никуда не мог, но зато по временам украдкой пощипывал сено с воза и, по-видимому, сам отлично понимал, что так делать не следует.

— Паликар, ты уймешься?

Осел каждый раз с виноватым видом опускал голову, но, прожевав украденный клочок, с голодной поспешностью отщипывал новый, мигая при этом глазами и поводя ушами.

После того, как девочка побранила его раза три или четыре, из фуры послышался голос:

— Перрина!

Девочка встала, откинула занавеску и вошла в фуру, где на тоненьком матраце лежала женщина.

— Что, мама?

— Что такое делает Паликар?

— Таскает сено с воза, который стоит впереди нас.

— Не давай ему.

— Он голоден...

— Голод не дает нам права брать чужое. Если возчик рассердится, что ты ему скажешь?

— Хорошо, я отведу Паликара подальше.

— Разве мы еще не скоро въедем в Париж?

— Приходится ждать акцизных.

— Долго ли еще?

— Бедная мама, тебе хуже?

— Нет... так... ничего... Это от духоты... — задыхающимся голосом произнесла женщина.

Любящая мать только хотела утешить дочь этими словами; на самом же деле ее состояние было очень тяжелым. Ей не исполнилось и двадцати семи лет, а она умирала от жестокой чахотки, которая уже перешла в последнюю стадию. Она едка дышала, силы ее были на исходе, жизнь едва теплилась в ней. Притом лицо ее хранило следы замечательной красоты; дочь была похожа на нее.

— Принести тебе что-нибудь? — спросила Перрина.

— Что же?

— Тут есть лавки. Хочешь, я куплю тебе лимон? Сейчас сбегаю.

— Нет, не нужно. Лучше побережь деньги; у нас их так мало. Ступай к Паликару и не давай ему воровать сено.

— Это нелегко.

— Смотри за ним.

Девочка вернулась к ослику, и так как в это время очередь слегка продвинулась, ей удалось поставить Паликара настолько далеко от воза, что он уже никак не мог дотянуться до сена.

Сначала ослик возмутился и хотел во что бы то ни стало добраться до воза, но девочка успокоила его ласками и нежными словами.

Теперь ей уже не надо было так внимательно следить за ним, и она могла понаблюдать за происходящим вокруг. По реке сновали баржи и лодки; привезенные товары выгружали и сваливали на пристань; поезда окружной железной дороги то и дело проносились по мосту, своды которого заграждали вид на Париж, окутанный темной дымкой; акцизные чиновники расхаживали между экипажами, то протыкая возы с сеном и соломой длинными копьями, то взбираясь на телеги с бочками, причем каждая бочка просверливалась буравчиком; акцизные подставляли под струйки вина серебряные стаканчики, отпивали и сейчас же выплевывали.

Все это было так интересно, так непривычно, что девочка и не замечала, как проходило время.

Около нее уже минут десять вертелся двенадцатилетний мальчик, в наряде клоуна, — вероятно, из какой-нибудь странствующей труппы, балаган которой тоже стоял у заставы. Девочка все не замечала его. Наконец мальчик решил заговорить:

— Славный у вас ослик...

Она промолчала.

— Неужели он наш, здешний? Это было бы удивительно!

Она взглянула на мальчика и, найдя, что наружность у него приятная и открытая,

ответила:

- Он из Греции!
- Из Греции?
- И поэтому мы его зовем Паликаром.
- А, вот почему!..

Говоря по совести, мальчик не совсем понял, почему греческого осла нужно звать Паликаром.

- А это далеко — Греция? — спросил он.
- Очень далеко.
- Дальше, например, Китая?
- Нет, не дальше, но все равно очень далеко.
- Вы сами тоже из Греции?
- Нет... мы были еще дальше.
- Стало быть, из Китая?
- Нет... А вот Паликар — тот из Греции.
- Вы едете на праздник Инвалидов?
- Нет.
- А куда же?
- В Париж.
- И где думаете остановиться?
- В Оксерре нам говорили, что на бульварах линии укреплений есть свободные места. Мальчик опустил голову и два раза громко хлопнул себя по бедрам.
- Бульвары на линии укреплений!.. Ну-у!..
- Разве там нет мест?
- Есть...
- Так что же?
- Только не для вас! Эти укрепления — очень опасное место. Скажите, у вас в фуре есть сильные здоровые мужчины, не боящиеся удара ножом, то есть не боящиеся получить такой удар и готовые нанести его сами?
- Нас только двое — я и мама.
- Вы дорожите своим осликом?
- Разумеется.
- Да его у вас там сразу украдут — а дальше еще и не такое может случиться. Не будь я Гра-Дубль, если это не так!
- Неужели это правда?
- Честное слово... Вы никогда раньше не бывали в Париже?
- Никогда.
- Это видно. Оксеррские дураки наговорили вам чепухи, а вы и верите... Почему бы вам не обратиться к Грен-де-Селю?
- Кто это Грен-де-Сель? Я его не знаю.
- Это владелец Шан-Гильо... У него есть поле, обнесенное забором, и на ночь оно запирается. Там вы будете в полной безопасности. Грен-де-Сель не задумается и выстрелит в того, кто попытается забраться к нему ночью.
- У него, наверное, дорого?
- Зимой — да; тогда у него бывает много народа. Но теперь, я думаю, он возьмет с вас не больше сорока сантимов в неделю за постой фуры; и у осла вашего всегда будет корм, особенно если он любит репейник.
- Он, кажется, любит.
- Так в чем же дело? Грен-де-Сель человек неплохой.
- А почему его так зовут?<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Грен-де-Сель» значит «крупинка соли».

- Потому, что ему вечно хочется пить.
- А далеко отсюда до Шан-Гильо?
- Нет, недалеко. Это в Шаронне. Но вы, наверное, не знаете, где Шаронн?
- Я же никогда не бывала в Париже.
- Это вот там.

Он показал рукой на север.

— Проехав заставу, сразу же поверните направо. Полчаса надо ехать по бульвару, вдоль линии укреплений; потом вы пересечете аллею Венсенн, повернете налево и там спросите. Любой вам укажет Шан-Гильо.

— Большое спасибо. Я скажу об этом маме. Я даже сейчас могу к ней сбегать, если вы согласитесь две минуты постеречь Паликара.

— С удовольствием. Я попрошу, чтобы он научил меня говорить по-гречески.

— Пожалуйста, не позволяйте ему есть сено.

Перрина вошла в фуру и передала своей матери то, что слышала от молодого акробата.

— Если это правда, то думать не о чем: надо ехать в Шаронн. Только найдешь ли ты дорогу? Подумай, — ведь это Париж!

— Мне кажется, это не так трудно.

Прежде чем выйти, девочка снова наклонилась к матери и сказала:

— Тут несколько телег и повозок с надписью: «Марокурские заводы», а внизу: «Вульфран Пендавуан». Та же надпись на брезенте, которым прикрыты бочки с вином.

## Глава II

Когда Перрина вернулась на свое место, осел опять стоял у воза и, уткнувшись носом в сено, преспокойно жевал его, как будто перед ним были собственные ясли.

— Зачем вы ему позволяете! — воскликнула она.

— А что такое?

— Возчик вломится в претензию.

— Пусть попробует!

Он стал в вызывающую позу, подбоченился и крикнул:

— Эй, выходи!

Но никакого заступничества не потребовалось. Возчику было не до того: его телегу в это время осматривали акцизные.

— Теперь ваша очередь, — сказал клоун. — Я ухажу. До свидания, *mad'zelle*. Если я вам понадобится, спросите Гра-Дубля. Меня все знают.

Акцизные, надзирающие за парижскими заставами, — народ привычный ко всякому, но чиновник, который осматривал фуру, невольно изумился, когда увидел больную женщину в обстановке столь явной нищеты.

— Вам есть что предъявить? — спросил он.

— Нет.

— Ни вина, ни провизии?

— Нет.

И это была правда. Кроме матраца, двух плетеных стульев, небольшого стола, глиняной печи и фотографического аппарата с приборами в фуре не было ничего: ни чемоданов, ни корзин, ни одежды.

— Можете проезжать.

Миновав заставу, Перрина сейчас же повернула направо, как советовал Гра-Дубль. На пыльной, пожелтевшей, местами совсем вытопанной траве по обочинам бульвара лежали

какие-то люди — кто на спине, кто на животе. Некоторые, проснувшись, потягивались только с тем, чтобы снова заснуть. Истощенные, испытанные лица и рваная одежда красноречивей всяких слов говорили, что жители укреплений — народ ненадежный, что ночью в этих местах не безопасно, Но они мало интересовали Перрину; теперь ей это было все равно. Ее занимал только сам Париж.

Неужели эти обшарпанные дома, эти сараи, грязные дворы, пустыри, сплошь покрытые нечистотами, неужели это тот Париж, о котором так много рассказывал ей отец, о котором она мечтала, как о чем-то волшебном? Неужели эти опустившиеся, оборванные мужчины и женщины, валяющиеся здесь на траве, неужели они — парижане?

Миновав Венсенн, она свернула влево и спросила, где Шан-Гильо. Хотя все знали это место, не все при том одинаково указывали дорогу туда, и Перрина несколько раз сбивалась на названиях улиц, по которым предстояло проезжать. В конце концов, однако, она увидела перед собой забор из кое-как подогнанных друг к другу досок: через отворенные ворота виден был старый омнибус без колес и железнодорожный вагон тоже со снятыми колесами. По этим признакам она догадалась, что это и есть Шан-Гильо. На траве лежало около дюжины хорошо откормленных собак.

Оставив Паликара на улице, Перрина вошла во двор. Собаки с визгливым лаем кинулись на нее и принялись теревить за ноги.

— Что там такое? — послышался чей-то голос.

Перрина оглянулась и увидела слева от себя длинное строение, которое могло быть и жилым домом, и чем угодно. Стены некогда сооружали из чего попало: и из кирпичей, и из досок, и из бревен; крыша была частично из картона, частично из просмоленного полотна; окна — из стекла, и из бумаги, и из листового цинка, и из дерева. Все это было построено с каким-то наивным искусством: словно тут похозяйничал Робинзон с несколькими Пятницами.

Под навесом человек с всклокоченной бородой разбирал ворох тряпья, раскидывая его по корзинам, расставленным вокруг него.

— Подойдите, — сказал он, — только не раздавите моих собак.

Перрина подошла.

— Что вам угодно? — спросил человек с бородой.

— Это вы владелец Шан-Гильо?

— Говорят, что я.

Девочка в нескольких словах объяснила, кто она и чего хочет. Он слушал ее и, чтобы не терять золотого времени даром, налил себе стакан красного вина и осушил его залпом.

— Все это можно, если только мне заплатят вперед... — сказал он, оглядывая Перрину.

— А сколько?

— Сорок два су в неделю за фуру и двадцать одно су за осла.

— Это очень дорого.

— Меньше не могу.

— Это ваша летняя цена?

— Это моя летняя цена.

— А можно будет ослу есть репейник?

— Можно какую угодно траву, если у него есть зубы.

— Мы не можем платить за неделю вперед, потому что так долго не останемся: мы в Париже проездом и направляемся в Амьен.

— Все равно; в таком случае шесть су в день за фуру и три за осла.

Она пошарила в кармане своей юбки и, вытащив оттуда девять монеток по одному су, сказала:

— Получите за первый день.

— Можешь сказать своим родителям, чтобы въезжали. Сколько вас всех-то? Если целая группа, то еще по два су с человека.

— Я только с мамой.

— Ладно. Почему же твоя мать сама не пришла договариваться?

— Она больна и лежит в фуру.

— Больна? У меня не больница.

Перрина испугалась, что он откажет им.

— То есть она устала: мы ведь издалека.

— Я никогда не спрашиваю у постояльцев, откуда они.

Он указал рукой на угол своего «поля» и прибавил:

— Фуру поставишь вон там, а осла привяжешь. Если ты раздавишь одну из моих собак, заплатишь за нее сто су.

Она пошла к воротам. Он остановил ее.

— Выпей стакан вина.

— Благодарю. Я не пью.

— Ну, так я за тебя выпью.

Он опять опрокинул себе в горло целый стакан и принялся разбирать тряпье, которым порой приторговывал.

Привязав Паликара в указанном месте, причем осел довольно долго брыкался, Перрина вошла в фуру.

— Ну, вот, мама, мы и приехали.

— Какое счастье, что мы постоим на месте, не будем двигаться и трястись. Боже мой, как велика земля!

— Теперь нам можно и отдохнуть. Я приготовлю обед. Тебе чего хотелось бы?

— Сначала пойдти распряги Паликара, задай ему корм, напои его. Он ведь тоже устал, бедняжка.

— Здесь очень много репейника и есть колодец. Я сейчас пойду и все устрою...

Девочка вернулась очень скоро и принялась собирать все, что нужно для готовки. Она достала переносную глиняную печь, несколько кусков угля и старую кастрюлю, потом вынесла все это на воздух, зажгла уголь и долго изо всех сил дула на него, став перед печкой на колени.

Когда уголь разгорелся, она вернулась к матери.

— Хочешь рису?

— Мне и есть-то почти не хочется.

— Или чего-нибудь другого. Скажи, я достану. Хочешь?

— Ну, давай рису...

Перрина бросила в кастрюлю горсть риса, налила воды и начала кипятить, помешивая двумя беленькими палочками. От огня она отошла только на секунду и то лишь затем, чтобы посмотреть, что делает Паликар. Ослик чувствовал себя прекрасно и усердно жевал репейник.

Приготовив рис как следует, то есть ничуть его не переварив, она выложила его стопкой в деревянную плошку и отнесла в фуру.

До этого она уже поставила перед постелью матери небольшой кувшинчик с колодезной водой, два стакана, две тарелки и две вилки; поставив тут же плошку, сама она села на пол, поджав под себя ноги.

— Ну, вот теперь мы будем обедать.

Она говорила веселым, даже беззаботным тоном, но взгляд ее с тревогой скользил по лицу матери, которая сидела на матрасе, закутавшись в шерстяной платок, изорванный и затасканный, хотя когда-то, видимо, стоивший немало денег.

— Ты проголодалась? — спросила мать.

— Еще как! Я так давно не ела...

— Ты бы хоть хлебом закусила.

— Я съела целых два ломтя и все-таки голодна. Смотри, как я буду есть; глядя на меня, тебе самой захочется.

Мать поднесла вилку с рисом к губам, но так и не смогла проглотить...

— Не могу, — сказала она в ответ на взгляд дочери. — Кусок не идет в горло.

— Заставь себя: второй глоток будет легче, а третий еще легче.

После второго глотка мать положила вилку на тарелку.

— Не могу: нехорошо... Лучше уж и не пробовать...

— О, мама!

— Не беспокойся, дорогая. Это пустяки. Я ведь не двигаюсь — надо ли удивляться, что у меня нет аппетита! И потом — я так устала от езды... Вот отдохну, и аппетит появится...

Она скинула с себя платок и, задыхаясь, легла опять на постель. Заметив у дочери слезы на глазах, она попыталась ее развеселить.

— Рис у тебя очень вкусный, ешь его... Ты работаешь, тебе нужно больше пищи... Поешь, дорогая!

— Да я и так ем... Видишь, мама, я ем...

Но на самом деле она глотала через силу, принуждая себя. Впрочем, слова матери все же утешили ее, и она стала есть как следует, так что скоро от риса ничего не осталось. Мать глядела на нее с нежной и грустной улыбкой.

— Вот видишь, дорогая, стоит только себя заставить... — сказала больная.

— Ах, мама! Ответила бы я тебе на это, да не решаюсь.

— Ничего, говори...

— Я бы ответила, что ведь только что я тебе советовала то же самое, что ты мне теперь говоришь.

— Я больна...

— Вот потому-то мне и хочется сходить за доктором... В Париже много хороших докторов.

— Хорошие-то пальцем не шевельнут, если им не заплатят денег.

— Мы заплатим.

— А чем?

— Деньгами. У тебя в платье должны быть семь франков и еще флорин, которого здесь не меняют... да у меня семнадцать су. Посмотри-ка у себя в платье.

Черное платье, такое же потрепанное, как и юбка Перрины, только менее пыльное, лежало на постели вместо одеяла. В кармане его действительно отыскались семь франков и австрийский флорин.

— Сколько тут будет всего? — спросила Перрина. — Я плохо знаю французские деньги.

— Я знаю их не лучше тебя.

Они принялись считать и, определив стоимость флорина в два франка, насчитали девять франков и восемьдесят пять сантимов.

— Ты видишь, у нас даже больше, чем нужно на доктора... — продолжала Перрина.

— Доктор меня словами не вылечит. Понадобятся лекарства, а на что мы их купим?

— Вот что я скажу тебе, мама. Над нашей фурой везде смеются. Хорошо ли будет, если мы приедем в ней в Марокур? Как на это посмотрят наши родные?

— Я сама опасаясь, что это им не понравится.

— Так не лучше ли от нее отделаться, продать ее?

— За сколько же мы ее продадим?

— Да сколько дадут... Кроме того, у нас есть фотографический аппарат; он еще очень хорош. Наконец, есть матрац...

— Стало быть, ты хочешь продать все?

— А тебе жаль расстаться?

— Мы прожили в этой фуре больше года... В ней умер твой отец... Со всей этой нищенской обстановкой у меня связано столько воспоминаний...

Больная замолчала, задыхаясь... Крупные слезы побежали по ее щекам.

— О, мама! — вскричала Перрина. — Прости, что я тебя расстроила...

— Мне не за что тебя прощать... Ты говоришь вполне разумно, и я сама должна была бы об этом догадаться... Но ведь ты перечислила не все... Нам придется расстаться и...

Она запнулась.

— С Паликаром? — договорила Перрина. — Я только не решалась тебе об этом сказать... Ведь не можем же мы явиться с ним в Марокур?

— Конечно, не можем, хотя мы и не знаем еще, как нас там примут.

— Неужели нас там могут принять дурно? Неужели нас не защитит память моего отца? Неужели будут продолжать сердиться и на мертвого?

— Не знаю. Если я и отправляюсь туда, то только потому, что так приказал, умирая, твой отец. Мы все продадим, на вырученные деньги пригласим доктора, сошьем себе приличную одежду и по железной дороге поедem в Марокур. Только вот вопрос — хватит ли на все того, что мы выручим?

— Паликар очень хороший осел. Мне говорил мальчик-акробат, а он толк знает...

— Ну, обо всем этом мы поговорим завтра, а теперь я очень устала.

— Хорошо, мамочка. Ложись усни, а я пойду стирать; у нас накопилось много грязного белья.

Поцеловав мать, девочка вышла из фуры, согрела воды и принялась стирать в тазу две рубашки, три носовых платка и две пары чулок. Работала она на редкость проворно и ловко. Через два часа все было выстирано, выполоскано и развешано для просушки на веревке. После этого Перрина подошла к Паликару, перевела его на другое место, где трава была посвежее, и напоила его водой. На дворе совсем стемнело. Кругом воцарилась глубокая тишина. Девочка грустно обвила шею ослика руками и горько заплакала...

### Глава III

Ночь больная провела очень плохо. Перрина несколько раз вставала и давала ей пить. Несмотря на свое желание поскорее сбегать за доктором, девочка должна была ждать, когда проснется Грен-де-Сель, чтобы узнать у него адрес какого-нибудь хорошего врача.

Грен-де-Сель действительно знал одного врача, довольно именитого, который объезжал пациентов в экипаже, а не ходил пешком, как другие. Жил он на улице Риблет, возле церкви, и звали его доктор Сандриэ. Перрина испугалась, не слишком ли дорого нужно платить этому знаменитому врачу.

— Да, довольно дорого, — ответил Грен-де-Сель, — не меньше сорока су за визит, и лучше вперед.

Это было еще ничего. Перрина отправилась за врачом, расспросив хорошенько дорогу. Когда она дошла до квартиры врача, тот еще спал. Пришлось дожидаться на улице. Но ног к подъезду подали старинный кабриолет, запряженный крепкой лошадей, и через несколько минут на крыльцо вышел сам доктор. Это был толстый, огромного роста мужчина, с красным лицом и длинной, рыжей бородой.

Перрина поспешно подошла к нему и изложила свою просьбу.

— Шан-Гильо? — переспросил он. — Кто же там болен?

— Моя мать... Мы фотографы...

Он встал на подножку. Перрина торопливо подала ему сорок су.

— Я беру за такой визит три франка.

Перрина прибавила еще двадцать су.

Доктор сунул деньги в карман жилета и сказал:

— Через четверть часа буду у вас.



Перрина бегом вернулась домой.

— Мама! Мама! — закричала она радостно. — Сейчас приедет настоящий доктор. Он тебя вылечит.

Она принялась приводить больную в порядок: вымыла ей лицо, причесала ее длинные, шелковистые волосы, потом прибрала вещи в фуру. Вскоре послышался стук колес, и у загородки остановился экипаж. Перрина догадалась, что приехал доктор, и побежала к нему навстречу.

— Мы живем в фуру, — сказала она. — Проходите, пожалуйста.

Доктор вошел в фуру. Как ни был он привычен ко всякой обстановке, практикуя среди парижских бедняков, но и у него на лицо набежала тень, когда он окинул глазами убранство повозки.

— Покажите язык, — обратился он к больной.

Люди, дающие доктору за визит от сорока до ста франков, не могут и представить себе той торопливости, с которой врачи осматривают больных, платящих им по сорок су.

Осмотр больной продолжался ровно минуту.

— Вам надо лечь в больницу, — сказал он.

Мать и дочь одновременно вскрикнули.

— Девочка, выйди на минуту! — приказал доктор.

Перрина вышла, дождавшись знака от матери.

— Я безнадежна? — тихо спросила больная.

— Вовсе нет, но вам нужно серьезно лечиться, а здесь это невозможно.

— В больницу меня возьмут вместе с дочерью?

— Дочь будут пускать к вам по воскресеньям и четвергам.

— Что же она будет делать одна? Где будет жить? Нет, уж если мне суждено умереть, то пусть я умру у нее на руках.

— Во всяком случае, вам нельзя оставаться в фуру. Вас убьют ночные холода. Вы должны непременно снять комнату. Можете?

— Если на короткий срок, то можем.

— У Грен-де-Селя сдаются внаем недорогие. Но, кроме того, вам нужны лекарства, хорошая пища, уход. В больнице у вас бы все это было.

Больная отрицательно покачала головой.

— Я не могу оставить дочь.

— Ну, как хотите... Воля ваша... Девочка, можешь войти!

Перрина вошла. Доктор вырвал из записной книжки листок, быстро написал на нем карандашом несколько коротких строчек и подал девочке.

— Вот, отнеси это в аптеку. Дай твоей матери порошок № 1 и микстуру № 2. Давай через час по ложке; хинное вино давай ей за обедом, и пусть она ест больше и все, что ей нравится; особенно ей будут полезны яйца. Вечером я заеду опять.

Доктор направился к экипажу; Перрина пошла его провожать.

— Уговори ее лечь в больницу.

— А вы разве не можете ее вылечить?

— Не в одном лечении дело: нужен еще и уход... Она совершает ошибку, отказываясь лечь в больницу; ты и без нее не пропала бы: ты молодец.

Доктор подошел к экипажу, сел в него и уехал. Перрина побежала в аптеку. На все, предписанное доктором, у нее не хватило денег, потому что флорин брать не хотели; пришлось повременить с хинным вином и ограничиться одними лекарствами. На оставшиеся деньги она купила свежие яйца и венский хлебец.

— Очень свежие яйца, — сказала она, вернувшись в фуру, — и замечательный хлебец. Покушай, мама!

— С удовольствием, дорогая.

У обеих появилась надежда, а надежда иногда творит чудеса. Больная, два дня отказывавшаяся от всякой пищи, с аппетитом съела яйцо и половину хлеба.

— Ну, что, мама? Правда, так лучше?

— Да... да... правда...

Больная успокоилась. Перрина воспользовалась этим и отправилась к Грен-де-Селю, чтобы посоветоваться с ним относительно продажи фуры. Ее, наверное, купит сам Грен-де-Сель; он ведь все покупает: мебель, платье, тряпки, музыкальные инструменты, кости, бутылки. Труднее будет продать Паликара. Во-первых, кому и где? И сколько, вообще, в Париже может стоить осел? А вдруг Грен-де-Сель заплатит за фуру столько, что Паликара можно будет пока не продавать и оставить в Париже, а после выписать в Марокур и поселить там в конюшнях?

Но этой надежде не суждено было сбыться. Грен-де-Сель осмотрел фуру, постучал по ней крючком, заменявшим ему ампутированную руку, и с видом презрительного сожаления предложил за нее пятнадцать франков.

— Так мало! — вскричала Перрина.

— А что я с ней буду делать? И то ведь из одной жалости к вам покупаю.

— Можно ли будет нам снять у вас комнату?

— Сколько угодно.

Сошлись на семнадцать с половиной франках за фуру, с тем что Перрина и ее мать снимут у Грен-де-Селя комнату, но днем будут иметь право пользоваться своей повозкой, поскольку в ней не так душно.

Грен-де-Сель повел Перрину осмотреть ее комнату. Помещение оказалось на редкость грязным и вонючим.

— Доктор знает эти комнаты? — спросила девочка с сомнением.

— Конечно, знает: он часто приезжал сюда к Маркизе, когда лечил ее.

Раз доктору эти комнаты были известны, стало быть, в них можно было жить, — иначе он не рекомендовал бы их. Если в одной из них жила маркиза, отчего же в другой не поселиться Перрине с матерью?

— Это будет вам стоить восемь су в день, — сказал Грен-де-Сель, — да три су за осла и шесть су за фуру.

— За какую фуру? Ведь вы ее у нас купили?

— Вы будете ею пользоваться, стало быть, должны и платить.

Перрина не нашлась, что ответить. Не в первый раз ее обманывали. Она уже к этому привыкла...

## Глава IV

Большую часть дня Перрина потратила на приведение в порядок комнаты, в которой они собирались поселиться: она вымыла пол, протерла стены, потолок и окно, наверное, не выдавшее ничего подобного с самого дня постройки дома.

Во время бесконечных путешествий от дома к колодцу, откуда приходилось брать воду для мытья, она заметила, что в этом углу двора росла не одна трава и чертополох. Из близлежащих садов ветром сюда занесло семена кое-каких растений, и, кроме того, соседи набросали сюда же отростки ненужных им больше цветов. Некоторые из этих отростков и семян, попавшие на подходящую для них почву, не только взошли, но и расцвели.

При виде цветов девочке пришла в голову мысль собрать букеты из красного и лилового левкоя и гвоздики и поста вить их в комнате, чтобы перебить удушливый запах и хот немного оживить обстановку... Несмотря на то, что у цветов явно не было хозяина,

поскольку Паликар мог щипать их в свое удовольствие, Перрина все-таки не рискнула сорвать ни одного стебелька без позволения Грен-де-Селя.

— На продажу? — спросил он.

— Нет, просто чтобы поставить в нашу комнату.

— Сколько угодно. Но если ты захочешь торговать ими то я начну с того, что сам их тебе продам; а если это для тебя, то не стесняйся, малютка. Ты любишь запах цветов, а люблю запах вина и только его и умею различать...

Из сваленной в кучу битой посуды она отобрала более или менее целые вазочки и поставила в них свои букеты. Так как цветы были сорваны в середине дня, то скоро комната наполнилась благоуханием левкоя и гвоздики, и даже как будто стало светлее.

Убирая свою квартиру, Перрина заодно успела познакомиться и со своими соседями: с одной стороны жила старушка, носившая на седых волосах чепчик, украшенный трехцветными лентами, наподобие французского флага; с другой — очень высокого роста человек, согнувшийся вдвое, всегда в кожаном фартуке, таком длинном и широком, что, казалось, это было единственное его одеяние. Женщина в трехцветном чепчике была уличной певицей, как сообщил Перрине человек в фартуке. Это и была та самая Маркиза, про которую говорил Грен-де-Сель; каждый день она уходила из Шан-Гильо с красным зонтиком и толстой палкой, из которых она сооружала навес, когда устраивалась петь на перекрестках или на мостах. Что касается человека в фартуке, то, по словам Маркизы, он занимался починкой старой обуви и с утра до вечера работал, немой, как рыба, за что получил прозвище «Дядюшки Карася»; но хотя он и не говорил почти ничего, зато производил оглушительный шум своим молотком.

Солнце уже катилось к закату, когда Перрина покончила с обустройством помещения и смогла перевести туда мать. Бедная женщина была глубоко тронута, увидев расставленные в комнате цветы...

— Как ты добра к своей матери, дорогая девочка! — проговорила она.

— Я добра сама к себе, мама: если бы ты знала, как я счастлива, что могу доставить тебе удовольствие.

Правда, с наступлением ночи цветы пришлось вынести во двор, — так сильно они благоухали, — и тогда запах старого дома снова дал о себе знать. Но больная не решилась жаловаться, тем более что это все равно ничего бы не дало: они не могли покинуть Шан-Гильо и отправиться в другое место.

Ночью больная металась во сне и даже бредила; когда утром пришел доктор, он нашел, что ей хуже, и решил попробовать другое лекарство. Пришлось опять идти в аптеку, где на этот раз потребовали пять франков. Перрина, не задумываясь, храбро уплатила их; но потом сердце ее болезненно сжалось: как дотянут они при таких расходах до среды, дня продажи бедного Паликара? Если и на следующий день лекарства обойдутся в пять франков, где она возьмет эту сумму?

В дни скитаний, когда она вместе с родителями пробиралась по горам, им не раз приходилось голодать, особенно с тех пор, как они покинули Грецию и направились во Францию. Но это было совсем не то. В горах у них всегда была надежда найти какие-нибудь плоды, овощи, дичь, которые послужили бы им неплохим ужином, надежда встретить крестьян — греческих, боснийских, австрийских или тирольских, которые согласились бы сфотографироваться за несколько су. В Париже все по-другому: нет денег — нет и надежды, а их деньги подходили к концу. Что же делать? Самое ужасное было то, что ей приходилось самой отвечать на этот вопрос, а что могла она ответить и что могла предпринять? Мать ее была тяжело больна, и решать все оставалось только самой Перрине, так что настоящей матерью оказывалась именно она, хотя и была еще совсем ребенком.

Еще если бы здоровье матери поправлялось, ей было бы намного легче. Но, хотя

больная никогда не жаловалась, повторяя, напротив, свое обычное «это пройдет», все-таки Перрина ясно видела, что в действительности «это не проходило»: у матери не было ни сна, ни аппетита; лихорадка, слабость и угнетенное состояние духа, напротив, усиливались с каждым днем.

Во вторник утром, когда пришел доктор, ее опасения относительно перемены лекарства оправдались: после быстрого осмотра больной доктор Сандриэ достал из кармана свою записную книжку, вызывающую у Перрины столько тревог, и приготовился писать рецепт; но в ту минуту, когда он уже взялся за карандаш, она осмелилась его остановить.

— Господин доктор, если лекарство, которое вы хотите выписать, не очень нужно для больной сейчас, то нельзя ли назначить только самое необходимое?

— Что вы хотите этим сказать? — сердито спросил доктор.

Она явно волновалась, но, несмотря на это, храбро продолжила:

— Дело в том, что у нас не очень много денег сегодня и получим мы их только завтра; поэтому...

Доктор взглянул на нее, затем осмотрелся кругом, будто только теперь заметил царившую здесь бедность, и положил записную книжку обратно в карман.

— Мы переменим лекарство завтра, — сказал он, — особой необходимости в этом нет, и вчерашнее лекарство можно давать еще и сегодня.

«Особой необходимости нет», — повторяла Перрина про себя слова доктора.

Если нет особой необходимости, значит, мама вовсе не так плоха, как она опасалась, и значит, еще можно надеяться и ждать.

И она с нетерпением ждала наступления среды, возлагая на нее большие надежды, хотя этот день должен был принести ей и горе. В этот день, правда, они получают деньги, но одновременно навсегда расстанутся с Паликаром. Вот почему всякий раз, как только появлялась возможность оставить мать, она бежала к своему другу. А осел, наслаждаясь отдыхом и с аппетитом поедая росший кругом репейник, казалось, никогда еще не чувствовал себя лучше. Как только он замечал, что Перрина подходит, сразу же раздавался его приветственный, громкий рев; затем он начинал брыкаться и прыгать, стараясь оборвать веревку, пока девочка не подходила к нему совсем близко. Стоило только Перрине положить руку на спину осла, как он тотчас успокаивался и, вытянув шею, клал ей на плечо свою голову; в такой позе оставались они в течение нескольких минут. В ответ на ее ласки он шевелил ушами и как-то странно мигал глазами, точно желая передать ей свои мысли...

— Если бы ты знал! — шептала она сквозь слезы.

Но он ничего не знал, ничего не предполагал и, живя лишь удовольствиями настоящего, наслаждаясь покоем, хорошей пищей и ласками своей хозяйки, чувствовал себя самым счастливым ослом в мире. Кроме того, он сошелся с Грен-де-Селем, от которого в знак дружбы получал необычное угощение. В понедельник утром, прогуливаясь по двору, он подошел к Грен-де-Селю, занимавшемуся разборкой тряпья, и с любопытством остановился около него. У Грен-де-Селя была давняя привычка постоянно держать под рукой литр вина и стакан, чтобы не отвлекаться от дела, когда приходила охота выпить, — а приходила она часто. В это утро, занимаясь своим обычным делом, он даже не замечал, что происходит кругом; но именно потому, что он работал с таким усердием, жажда, та самая жажда, благодаря которой он получил свое прозвище, не замедлила проявиться. В ту минуту, когда, оторвавшись от работы, он протянул руку к бутылке, он вдруг увидел Паликара с вытянутой шеей и устремленными на него глазами...

— Ты что здесь подельываешь, приятель?

Так как голос был вовсе не сердитый, то осел не тронулся с места.

— Хочешь выпить стаканчик винца? — спросил осла Грен-де-Сель, все помыслы которого неизменно вращались вокруг слова «пить».

И вместо того чтобы опрокинуть себе в рот полный стакан, он в шутку протянул его Паликару; тот воспринял это приглашение совершенно серьезно, сделал еще два шага вперед и, сложив губы таким образом, чтобы они были как можно тоньше и длиннее, втянул в себя

добрую половину стакана, налитого до краев.

— Вот так осел! — вскричал Грен-де-Сель, заливаясь смехом, и стал звать: — Маркиза! Карась!

Маркиза и Карась прибежали; за ними подошел тряпичник с переполненной корзиной и жилец из вагона — торговец леденцами, появившийся на любых сборищах и базарах с красиво намотанными на крючки разноцветными нитями из растопленного сахара.

— Что случилось? — спросила Маркиза.

— Сейчас увидите. Предупреждаю, такое не каждый день встретишь.

Говоря это, он опять наполнил свой стакан и протянул его Паликару, который, как и в первый раз, наполовину опорожнил его, вызвав взрыв хохота у присутствовавших.

— Я слышал, что ослы пьют вино, но не верил этому, — заметил один из зрителей.

— Вам бы следовало купить его, — сказала Маркиза, обращаясь к Грен-де-Селю, — он мог бы составить вам компанию.

— Мы бы стали с ним добрыми друзьями.

Грен-де-Сель не купил Паликара, но очень привязался к нему и предложил Перрине сопровождать ее в среду на конный базар. Это было для нее большим облегчением, потому что она даже представить себе не могла, как она разыщет в Париже конный базар и как будет продавать там осла, торговаться и получать деньги; она слышала много рассказов про парижских воров и понимала, что в случае чего была бы совершенно беспомощна против них.

В среду утром она в последний раз принялась ухаживать за Паликаром, что дало ей возможность приласкать его и поцеловать, но — увы! — с какой грустью! Она не увидит его больше! Бедный друг, в какие руки попадет он теперь? Ей вспоминались измученные животные, которых ей так часто приходилось видеть во время своего долгого пути в Париж. Бедной девочке казалось, что эти бедняжки только для того и существовали, чтобы страдать. Правда, и Паликару, с тех пор как он появился у них, приходилось много работать и переносить всевозможные лишения, в том числе и голод, но его, по крайней мере, никогда не били, и он был другом людей, с которыми ему приходилось делить все невзгоды. Теперь же ее особенно беспокоил вопрос, к какому хозяину он попадет. Ведь на свете столько людей, даже не замечающих своей жестокости.

Паликар очень удивился, когда вместо упряжи на него надели один только недоуздок; но его удивление возросло еще больше, когда Грен-де-Сель, видимо, не желавший пройти пешком длинный путь от Шаронна до конного базара, вскочил ему на спину, словно он, Паликар, был каким-то предметом мебели! Лишь благодаря тому, что Перрина обнимала его за шею и говорила с ним, это удивление не перешло в сопротивление. Впрочем, разве Грен-де-Сель не был одним из его друзей?

Наконец, все трое двинулись в путь. Паликар важно выступал за Перриной, державшей повод. Миновав целый ряд довольно малолюдных улиц, они достигли большого, широкого моста, примыкавшего к зоологическому саду...

Здесь движение стало куда более оживленным, и Перрине пришлось было сосредоточить все свое внимание, чтобы пробираться среди множества экипажей. Поэтому она не видела ни роскошных зданий, ни памятников, мимо которых проходила, не слышала шуток и насмешек, отпускавшихся уличными остряками по адресу восседавшего на осле хозяина Шан-Гильо. Но зато сам Грен-де-Сель нимало не смущался и охотно отвечал остротами на остроты, шутками на шутки. Всю дорогу, где бы они ни проходили, раздавались взрывы веселого смеха и слышались громкие крики перекликавшихся с седоком прохожих.

Наконец они приблизились к обнесенной решеткой площади, где стояло множество лошадей, отделенных друг от друга перегородками. Здесь Грен-де-Сель слез с осла.

Но пока он слезал, Паликар успел осмотреться, и, когда Перрина попыталась провести его за решетку, он отказался двинуться с места. Быть может, он угадал, что это базар, где продают лошадей и ослов, или просто испугался, — как бы там ни было, только, несмотря на ласки и приказания идти, он наотрез отказывался слушаться Перрину. Грен-де-Сель решил попробовать подтолкнуть осла сзади, но Паликар, не зная, кто именно осмеливается позволять себе такие вольности, стал лягаться и пятиться, увлекая за собой Перрину.

В одну минуту их окружила толпа зевак; в первом ряду, как заведено, стояли газетчики и пирожники; каждый говорил свое и давал свои советы, как лучше заставить осла пройти в ворота.

— Вот радость-то будет тому дураку, который того осла купит, — проговорил чей-то голос.

Это были опасные слова: они могли повредить продаже; Грен-де-Сель счел свою обязанностью возразить.

— Это хитрец, — проговорил он. — Угадал, что его хотят продать, вот и продельывает все эти штуки, чтобы не расставаться со своими хозяевами.

— Вы в этом уверены, Грен-де-Сель? — спросил голос, сделавший первое замечание.

— Как, здесь знают мое имя?

— Вы разве не узнаете Ла-Рукери?

— А, так это вы.

Они протянули друг другу руки.

— Это ваш осел?

— Нет, он вот этой малютки.

— Вы его знаете?

— Мы не один стаканчик распили вместе; если вам нужен хороший осел, рекомендую.

— Он мне и нужен и не нужен.

— Ну, так пойдете, выпьем чего-нибудь. Не стоит платить за вход на площадь.

— Тем более что он, кажется, решил туда не входить.

— Я же говорю вам, что он хитрит.

— Если я его куплю, то вовсе не для того, чтобы он хитрил или распивал стаканчики, а для того, чтобы работал.

— Он отличный работник и сюда пришел прямо из Греции, не останавливаясь.

— Из Греции!

Грен-де-Сель сделал знак Перрине, следовавшей за ними и слышавшей лишь отдельные слова из их разговора. Паликар, убедившись, что его теперь уже не поведут на базар, послушно шел за своей хозяйкой, так что его даже не приходилось тянуть за недоуздок.

Кто же этот покупатель — мужчина или женщина? Судя по походке и безбородому лицу, это была женщина, примерно лет пятидесяти, а если судить по костюму — это был мужчина; на нем или на ней была блуза, панталоны и кожаная шляпа вроде тех, какие носят кучера омнибусов. Но для девочки, беспокоившейся об участи осла, важнее всего было выражение лица покупателя, — а оно было ни доброе, ни злое.

Повернув в маленький переулок, Грен-де-Сель и Ла-Рукери остановились перед винной лавкой. На столик, стоявший на тротуаре, им принесли бутылку и два стакана, а Перрина осталась на улице, держа за повод своего осла.

— Вы сейчас увидите, какой он хитрец, — не без гордости сказал Грен-де-Сель, протягивая ослику полный стакан.

Паликар немедленно вытянул шею и сложенными в трубку губами втянул в себя половину содержимого стакана, чему Перрина не посмела помешать.

— Э?! — проговорил Грен-де-Сель, довольный произведенным эффектом.

Но Ла-Рукери не разделяла его удовольствия.

— Он мне нужен не для того, чтобы пить мое вино, а чтобы возить мою тележку и мои кроличьи шкурки.

— Да ведь я говорю вам, что он притопал прямо из Греции, запряженный в фуру!

— А, это другое дело!

Начался внимательный и подробный осмотр Паликара. Когда с этим было покончено, Ла-Рукери спросила Перрину, сколько она за него хочет. Еще раньше, по совету Грен-де-Селя, Перрина решила спросить за осла сто франков и теперь назвала ту же цену.

Ла-Рукери подняла крик:

— Сто франков за осла без ручательства? Да это просто смешно! — И несчастному Паликару пришлось вытерпеть полное исследование по всем правилам, начиная от носа и до копыт. — Двадцать франков — вот все, что он стоит... да и то еще...

— Ну, делать нечего, — проговорил Грен-де-Сель после долгого спора, — мы поведем его на базар.

Перрина вздохнула свободнее: мысль получить за осла только двадцать франков совершенно подкосила ее. Что могли значить двадцать франков в их положении, когда даже ста франков едва ли хватило бы на все самое необходимое?

— Ну, это еще вопрос, пойдет ли он туда охотнее, чем в первый раз, — проговорила Ла-Рукери.

До базара осел послушно шел за своей хозяйкой, но, дойдя до решетки, опять остановился, стал упираться и, наконец, лег посреди улицы.

— Паликар, пожалуйста! — вскричала Перрина в отчаянии. — Паликар!

Но он лежал, как мертвый, не желая ничего слушать.

Вокруг них снова собрался народ и посыпались шутки.

— Подождите ему хвост! — посоветовал кто-то.

— Самое лучшее средство, чтобы его продать, — отвечал другой.

— Задайте-ка ему хорошую трепку!

Грен-де-Сель кипел от бешенства; Перрина была в отчаянии.

— Вот, сами видите, что он не пойдет, — сказала Ла-Рукери, — я дам вам тридцать франков, потому что, судя по его проделкам, животное та славная, но только не раздумывайте долго, или я куплю другого.

Грен-де-Сель вопросительно взглянул на Перрину, делая ей в то же время знаки, чтобы она соглашалась. А она стояла, вне себя от горя и отчаяния, не зная, на что решиться. Вдруг полицейский сержант грубо приказал ей очистить дорогу.

— Или вперед, или назад! Здесь стоять нельзя!

Но идти вперед она не могла, потому что этого не хотел Паликар; оставалось только идти назад. Как только осел понял, что его не поведут за решетку, он в ту же минуту поднялся на ноги и послушно пошел за девочкой, с довольным видом шевеля ушами.

— Теперь, — проговорила Ла-Рукери, положив на ладонь Перрины тридцать франков монетами по сто су, — надо отвести этого молодца ко мне, потому что я с ним немного уже познакомилась и думаю, что он, чего доброго, не захочет идти за мной. Улица Шато-де-Рантьэ не так далеко отсюда.

Но Грен-де-Сель отказался наотрез, посчитав это путешествие чересчур длинным.

— Ступай с ней, — посоветовал он Перрине, — и не переживай так: это добрая женщина, и твоему ослу будет у нее хорошо.

— А как я найду Шаронн? — спросила Перрина, боясь заблудиться среди этого громадного Парижа, необъятность которого она только теперь начала понимать.

— Иди все время вдоль укреплений — ничего не может быть легче.

Улица Шато-де-Рантьэ действительно была довольно недалеко от конного базара, и им потребовалось немного времени, чтобы добраться до группы хижин, очень похожих на те, какие Перрина уже видела в Шан-Гильо.

Наступил миг разлуки. Привязав осла в небольшой конюшне, Перрина со слезами на глазах поцеловала его на прощанье.

— Не плачь, ему будет хорошо у меня, я тебе обещаю, — проговорила Ла-Рукери.

— Мы так любили друг друга!

## Глава V

— Что мы будем делать с тридцатью франками, когда рассчитывали на сто?

Перрина обдумывала этот вопрос, уныло шагая вдоль линии укреплений от самого Белого дома до Шаронна, но ответа не находила; даже когда она пришла домой и передала матери деньги Ла-Рукери, она все еще не решила, как и на что лучше их потратить.

Решила за нее мать.

— Надо ехать, — сказала она, — сейчас же ехать в Марокур.

— А ты хорошо себя чувствуешь? У тебя хватит сил?

— Должно хватить. Мы и так слишком долго ждали, надеясь на улучшение, которое никогда не придет... здесь. А между тем средства наши, на исходе, и того, что мы получили за Паликара, не хватит надолго. Мне самой не хотелось бы появиться там в этом нищенском виде; но, может быть, чем ужаснее будет эта нищета, тем больше вызовет она сочувствия. Надо, надо ехать!

— Сегодня?

— Сегодня слишком поздно: мы приехали бы ночью и не знали бы, куда идти; но завтра утром непременно. Сегодня вечером постарайся узнать, когда отходят поезда по Северной железной дороге и сколько стоит проезд до станции Пиккиньи.

Перрина пошла посоветоваться к Грен-де-Селю, который сказал ей, что если она пороется в ворохах бумаги, то, наверное, найдет справочник железных дорог, и это будет гораздо удобнее, чем идти на Северный вокзал, находящийся очень далеко от Шаронна. Из справочника она узнала, что утром отходят два поезда, один в шесть, другой в десять, причем проезд до Пиккиньи в третьем классе стоит девять франков двадцать пять сантимов с пассажира.

— Мы поедем в десять часов, — сказала мать, — и найдем экипаж: я не смогу дойти до вокзала пешком, если он так далеко; а добраться до извозчика у меня силы хватит.

Но сил у нее было гораздо меньше, чем она думала: когда в девять часов она встала с постели и, опираясь на плечо дочери, собралась идти к ожидавшему на улице экипажу, который наняла Перрина, оказалось, что она просто не в состоянии добраться до него, хотя расстояние было совсем невелико; ей сделалось дурно, и, если бы Перрина не поддерживала ее, она, наверное, упала бы.

— Это ничего, — слабым голосом проговорила она, — это сейчас пройдет, не беспокойся.

Но «это» не прошло, и Маркизе, явившейся их проводить, пришлось принести стул. До этих пор нервное напряжение поддерживало мать Перрины; но едва она села, как ей резко стало хуже, дыхание почти остановилось, голос прервался.

— Надо бы положить ее, — проговорила Маркиза, — растереть. Это пройдет, дитя мое, не пугайся. Сходи за Карасем, — вдвоем мы отнесем ее в вашу комнату; теперь вам нечего и думать уезжать.

Маркиза была женщина опытная. Едва очутившись в постели, больная снова стала дышать; но, когда спустя некоторое время она попыталась есть, обморок повторился.

— Видите теперь, что вам надо лежать, — проговорила Маркиза авторитетным тоном. — Вы поедете завтра, а сейчас выпьете чашку бульона: я схожу попрошу у Карася; для этого молчуна бульон так же незаменим, как вино для нашего домовладельца. Зимой и летом он встает в пять часов утра и готовит себе суп. И какой суп! Уверена, что не многим господам доводилось есть такой хороший!

И, не дожидаясь ответа, она отправилась к соседу.

— Не дадите ли вы мне чашку бульона для нашей больной? — спросила она.

Тот улыбнулся в ответ и сейчас же снял крышку со своего горшка, клокотавшего в камине перед небольшим огоньком. Когда по комнате распространился запах бульона, сапожник широко раскрытыми глазами взглянул на Маркизу; ноздри его при этом как-то



раздулись, и все лицо дышало блаженством и гордостью.

— Да, пахнет хорошо, — проговорила Маркиза, — и если бы это могло спасти бедную женщину, оно непременно спасло бы ее; но, — она понизила голос, — вы знаете, ей очень плохо, и я думаю, скоро наступит конец.

Дядюшка Карась поднял руки к небу.

— Это будет очень печально для бедной девочки.

Дядюшка Карась нагнул голову и вытянул руки; жест, видимо, означал: что же мы тут можем поделать?

И в самом деле, и тот и другой, оба делали, что могли, но несчастье — такая обыкновенная вещь для несчастных, что они ему даже не удивляются и не противятся. Кому не выпадает на долю страдание в этом мире? Сегодня ты, завтра я...

Когда кружка была наполнена, Маркиза осторожно, семенящей походкой, понесла ее к больной, стараясь не пролить ни одной капли драгоценного бульона.

— Выпейте это, милая барыня, — сказала она, становясь на колени возле матраца, — и постарайтесь не шевелиться; раскройте только рот.

Она осторожно влила ей в рот ложку бульона, но это не принесло пользы и вызвало только тошноту и новый обморок, еще более продолжительный, чем первый.

Бульон тут явно был бессилён, с чем пришлось согласиться и Маркизе; но чтобы он не пропал даром, она отдала кружку Перрине.

— Вам понадобятся силы, моя милая, вам надо подкрепиться.

Не достигнув желаемых результатов при помощи бульона, который Маркиза считала универсальным средством от всех болезней, старушка стала в тупик и решила сходить за доктором: может быть, он сделает что-нибудь.

Но доктор, хотя и прописал лекарство, уходя, все же заявил Маркизе, что он не в силах помочь больной.

— Эта женщина истощена болезнью, нищетой и горем; если бы она и уехала, то умерла бы в вагоне. Это уже вопрос нескольких часов, и со следующим же обмороком, вероятно, наступит конец.

Но это случилось лишь через несколько дней. Жизнь, так быстро угасающая в старости, в молодости оказывает гораздо больше сопротивления смерти; больной, правда, не становилось лучше, но и не было заметно, что ей хуже; хотя она ничего уже не могла глотать — ни бульона, ни лекарств, тем не менее она все еще жила, лежа на матраце без движения, почти без дыхания, погруженная в дремоту.

И вот Перрина снова начала надеяться. Мысль о смерти, неотступно преследующая пожилых людей, представляется настолько нереальной молодым людям, что они отказываются признавать приближение конца даже тогда, когда конец этот уже становится неминуемым. Почему мать ее не может выздороветь? Почему должна она умереть? Умирают в пятьдесят, в шестьдесят лет, а ей нет и тридцати! Что сделала она, эта добрейшая и лучшая из женщин, эта нежная мать, за что можно было бы осудить ее на преждевременную смерть? Она не должна умереть теперь, она должна непременно выздороветь! И даже девочка находила причины, которыми можно было бы объяснить эту сонливость: она считала ее только отдыхом, вполне естественным после такого утомления и лишений. Когда же ее все-таки начинали одолевать сомнения, она шла посоветоваться с Маркизой, которая тоже поддерживала в ней эту надежду.

— Если она не умерла во время первого обморока, значит, и теперь не умрет.

— Правда?

— Грен-де-Сель и Карась думают то же самое.

Услышав от других слова утешения, она мысленно возвращалась к вопросу, на сколько времени хватит тридцати франков, полученных от Ла-Рукери. Как ни были ничтожны их

расходы, тем не менее деньги убывали очень быстро. Что станет с ними, когда будет истрачено последнее су? Где возьмут они средства к жизни, как бы мало им ни было нужно? Продать им больше нечего — у них и так ничего нет, ничего, кроме нищенских лохмотьев. Как доберутся они до Марокура?

Когда она предавалась этим печальным раздумьям, сидя возле матери, ее охватывало такое отчаяние, что ей порой казалось, что она и сама упадет в обморок. Однажды вечером, когда нервы ее были особенно возбуждены, она сидела, держа мать за руку, и вдруг ощутила ответное пожатие.

— Ты хочешь чего-нибудь? — поспешно спросила Перрина, вернувшись к действительности.

— Мне нужно поговорить с тобой, так как наступает минута нашей разлуки...

— О, мама!..

— Не прерывай меня, моя дорогая девочка, и постарайся запомнить мои последние слова. Мне не хотелось огорчать тебя, поэтому я и молчала до сих пор... Но то, что я хочу тебе сказать, должно быть сказано, как бы тяжело ни было это для нас обеих. Я была бы плохой матерью и поступила бы очень неблагоразумно, если бы стала еще медлить. Я умираю...

У Перрины вырвалось рыдание, которого она не могла сдержать, несмотря на все усилия.

— Да, это тяжело, милое дитя, а между тем мне начинает казаться, что после всего случившегося тебе лучше быть сиротой, чем появиться с матерью, которую могут отвергнуть. Словом, так хочет бог, и ты останешься одна... завтра, может быть, даже через несколько часов...

Волнение не позволило ей продолжать, и только через несколько минут, немного успокоившись, она опять смогла говорить.

— Когда меня... не станет, тебе придется исполнить некоторые формальности. В кармане моего платья ты найдешь бумагу, завернутую в шелковый платок, и отдашь ее тому, кто у тебя ее спросит: это мое брачное свидетельство, где написано мое имя и имя твоего отца. Ты потребуешь, чтобы тебе вернули ее назад, потому что она понадобится тебе позднее, чтобы доказать свое происхождение. Береги ее. Лучше выучи ее наизусть: тогда, если ты ее и потеряешь, то взамен сможешь потребовать другую. Ты слышишь меня. Ты не забудешь того, что я тебе говорю?

— Нет, мама, нет!

— Ты будешь очень несчастна, тебе придется очень тяжело, но не отчаивайся... Когда тебе незачем будет оставаться в Париже, когда ты будешь одна, совершенно одна, ты сразу же отправишься в Марокур по железной дороге, если у тебя будет достаточно денег, чтобы заплатить за проезд, или пешком, если у тебя денег не будет. Лучше ночевать в придорожной канаве и ничего не есть, чем оставаться в Париже. Ты обещаешь мне сделать это?

— Да, мама.

— Наше положение настолько плохо, что даже при одной мысли, что ты поступишь именно так, мне становится лучше.

Но хотя она и говорила, что чувствует себя лучше, это все-таки не спасло ее от нового упадка сил; довольно долго она лежала неподвижно, не в состоянии говорить, даже почти не дыша.

— Мама, — проговорила Перрина, наклоняясь над ней и вся дрожа от страха и отчаяния, — мама!

Этот призыв оживил ее.

— Подожди немного, — проговорила она таким слабым голосом, что ее слова походили на шепот, — я должна сказать тебе еще что-то, я должна это сделать; но я не помню, что именно я тебе уже сказала... Погоди...

Она остановилась на минуту, чтобы передохнуть и собраться с мыслями, и потом продолжала:

— Так... да, так: ты приедешь в Марокур... Ничего не требуй; ты не имеешь права ничего требовать; тебе придется достигнуть всего самой... Старайся быть доброй, заставляй себя любить... Любить тебя... ради тебя — в этом все... Но я надеюсь... ты заставишь себя полюбить... не может быть, чтобы тебя не полюбили... Тогда все твои несчастья кончатся.

Она сложила руки, и ее взгляд загорелся.

— Я вижу тебя... да, я вижу тебя счастливой... Ах, как бы я хотела умереть с этой мыслью и с надеждой всегда жить в твоём сердце...

Это было сказано с жаром молитвы, но слова эти отняли последние силы несчастной. Она снова откинулась на матрац и осталась лежать без движения, лишь ее тяжелое, прерывистое дыхание свидетельствовало, что это не обморок.

Перрина молча смотрела на нее несколько минут; потом, видя, что мать ее остается в том же состоянии, она вышла из комнаты. Едва переступив порог, она зашаталась и, упав на траву, разразилась рыданиями. Силы окончательно покинули ее; она и так слишком долго сдерживалась.

Несколько минут лежала она так, разбитая, задыхающаяся; но, несмотря на упадок сил, ее не покидала мысль, что она не должна оставлять свою мать одну. Она встала, стараясь немного успокоиться, по крайней мере, внешне, сдерживая слезы и готовые вырваться рыдания...

Она бродила по всему двору, то прямо, то кругами, сдерживаясь лишь для того, чтобы в конце концов снова разразиться рыданиями.

Когда она, быть может, в десятый раз проходила мимо вагона, откуда вышел торговец леденцами, наблюдавший за ней, и, подойдя к ней, грустно спросил:

— Ты горюешь, дитя мое?

— О, мосье!

— Ну, вот, возьми это, — и он протянул ей горсть леденцов, — сласти утоляют горе.

## Глава VI

Когда священник, провожавший покойницу на кладбище, ушел и Перрина осталась одна перед могилой, к ней подошла Маркиза, не покидавшая девочку в эти тяжелые минуты.

— Надо идти, — проговорила она, потянув Перрину за руку.

— О, сударыня!

— Пойдемте, время уходит, — твердым голосом повторила Маркиза.

И крепко держа девочку за руку, она повела ее за собой.

Так они шли несколько минут; Перрина двигалась точно и забытая, ничего не видя, ничего не сознавая. Она вся еще пыла там, около могилы матери.

Наконец, в пустынной аллее они остановились; здесь, удивленно осмотревшись кругом, Перрина словно впервые увидела Маркизу, уже не державшую ее за руку, Грен-де-Селя, Караса и торговца леденцами. Девочка едва узнавала знакомые ей лица. На чепчике Маркизы были приколоты черные ленты; Грен-де-Сель, в своем парадном костюме и высокой шляпе на голове, казался настоящим господином; Карась сменил свой вечный кожаный фартук на длинный редингот орехового цвета, а на торговце леденцами вместо всегдашней куртки из белого тика был надет суконный пиджак. Все они, как истые парижане, считали своим долгом, участвуя в похоронной процессии, надеть свои лучшие костюмы, чтобы этим почтить память усопшей.

— Я хотел сказать тебе, малютка, — начал Грен-де-Сель, полагавший, что, будучи

здесь главным, он имеет право говорить первым, — я хотел сказать тебе, что ты можешь жить в Шан-Гильо, сколько пожелаешь, и, конечно, бесплатно.

— Если ты захочешь петь со мной, — подхватила Маркиза, — то ты сама будешь зарабатывать себе на хлеб; это хорошее ремесло.

— Может быть, ты предпочитаешь кондитерство, — сказал торговец леденцами, — так я охотно возьму тебя; это тоже хорошее ремесло и весьма полезное к тому же.

Карась не сказал ничего, но его улыбка и движение руки, как бы протягивающей что-то, ясно выразили его предложение: всякий раз, как ей понадобится чашка бульону, она найдет его у Караса, и он даст ей самого лучшего.

Все эти предложения, быстро следовавшие одно за другим, вызвали слезы на глазах Перрины; но это были уже не те слезы тяжкого горя, которые жгли ее целых два дня.

— Как вы добры ко мне... — прошептала она.

— Мы делаем, что можем, — отвечал Грен-де-Сель.

— Нельзя же оставлять такую хорошую девочку, как ты, а парижской мостовой, — прибавила Маркиза.

— Я не могу оставаться в Париже, — отвечала Перрина, — мне нужно как можно скорее ехать к родным.

— У тебя есть родные? — перебил ее Грен-де-Сель. — Где же они живут?

— По ту сторону Амьена.

— А как ты собираешься добраться до Амьена? Есть у тебя деньги?

— На железную дорогу не хватит, я пойду пешком.

— Ты знаешь дорогу?

— У меня есть карта в кармане.

— А ты найдешь на своей карте, как пройти весь Париж, чтобы выбраться на дорогу в Амьен?

— Нет, но я надеюсь, что вы не откажетесь указать мне путь.

Каждый стал ей объяснять, как надо идти, и при этом каждый по-своему; из всего этого вышла такая путаница, что Грен-де-Сель решил вмешаться и положить конец болтовне.

— Если ты хочешь заблудиться в Париже, то тебе стоит только их послушать. Вот что тебе следует сделать: садись на круговую железную дорогу до Шапелль-Норд: оттуда ты уже легко найдешь дорогу в Амьен, по которой и придется тебе идти, никуда не сворачивая. Это будет стоить тебе шесть су. Когда ты хочешь ехать?

— Сейчас... Я обещала маме, что сразу же уеду.

— Надо исполнить волю матери, — сказала Маркиза. — Поезжай с богом, но только дай я тебя поцелую сначала: ты хорошая девочка.

Мужчины пожали ей руку.

Ей оставалось только уйти, но она колебалась и снова обернулась в сторону только что покинутой могилы. Угадавшая ее мысли Маркиза сказала:

— Если уж необходимо, чтобы ты ехала, то уезжай сейчас же; это самое лучшее.

— Да, поезжай... — подтвердил Грен-де-Сель.

Она низко поклонилась им всем в знак благодарности и, слегка опустив голову, точно убегая, стала быстро удаляться.

— Я предлагаю по стаканчику, — объявил Грен-де-Сель.

— Это не повредит, — ответила Маркиза.

Карась в первый раз обронил словечко, заметив:

— Бедная малютка!

Заняв место в вагоне круговой железной дороги, Перрина достала из кармана старую карту Франции, с которой ей много раз приходилось сверяться с тех пор, как они пересекли границу Италии. От Парижа до Амьена найти дорогу было нетрудно: стоило только идти по пути в Кале, по которому в былые времена ездили почтовые кареты и который на карте был обозначен тоненькой чертой, проходившей через Сен-Дени, Экуэн, Шантилльи, Клермон и Бретейль; в Амьене она перейдет на Бульонскую дорогу. Кроме того, умея определять

расстояние по масштабу, она вычислила, что дорога до Марокура составит около ста пятидесяти километров. Если она будет проходить по тридцать километров в день, то на все путешествие понадобится дней шесть.

Но сможет ли она проделывать каждый день такой путь? Да и какая будет погода в течение этих шести дней? Жары она не боялась и всегда легко шла даже под палящими лучами солнца. Ну, а если погода переменится? Ее жалкие лохмотья — плохая защита от дождя. В теплую летнюю ночь она спокойно могла бы ночевать под открытым небом, под первым попавшимся деревом; но эта зеленая крыша пропускает дождь, и водяные капли, падающие сквозь листву, становятся только тяжелее. Ей часто случалось промокать, и сильный дождь, даже ливень не пугали ее; но в состоянии ли будет она вынести путешествие под дождем в продолжение шести дней, с утра до вечера и с вечера до утра?

Весь капитал Перрины, когда она покидала Шан-Гильо, состоял из пяти франков и тридцати пяти сантимов. За место в вагоне она заплатила шесть су, и у нее оставались только пятифранковая монета и одно су, побрякивавшие в кармане при каждом резком движении; на эти деньги ей предстояло жить не только во время всего путешествия, но и в течение первых дней по прибытии в Марокур.

Углубившись в размышления, Перрина и не заметила, как поезд подошел к станции Ла-Шапель; здесь она вышла из вагона и направилась по дороге в Сен-Дени.

Теперь надо было идти все время вперед. До заката оставалось еще часа два или три, и Перрина надеялась, что к ночи она будет далеко от Парижа и что ночевать ей придется открытом поле. Это было бы для нее самое лучшее... А между тем, вопреки ее ожиданиям, по обе стороны дороги непрерывной линией тянулись дома и фабрики; впереди, насколько хватал глаз, виднелись только крыши да высокие трубы, выбрасывавшие клубы черного дыма; справа и слева слышался грохот машин, резкие звуки свистков, а по дороге, в облаках пыли, обгоняли друг друга или неслись навстречу кареты, повозки, конки; почти на всех повозках, покрытых парусинными чехлами или брезентом, виднелась надпись, уже поразившая ее у Берсийской заставы: «Марокурские заводы. Вульфран Пендавуан».

Казалось, Парижу и конца не будет, и она из него так никогда и не выберется! Ее не пугал ни мрак ночи, ни одиночество среди пустынных полей, но она боялась Парижа, боялась бесконечной линии ночных огней, этих громадных домов и двигавшейся по улицам толпы.

Синяя металлическая дощечка на стене одного углового дома подсказала ей, что она вступает в Сен-Дени, тогда как сама она считала, что все еще находится в Париже; это подало ей надежду, что после Сен-Дени, конечно, начнется поле...

Прежде чем идти дальше, Перрине пришлось в голову купить себе на ужин хлеба, и она вошла в булочную.

— Не продадите ли вы мне фунт хлеба?

— У тебя есть деньги? — спросила булочница, которой не внушил доверия вид девочки.

Перрина положила на прилавок свою монету в пять франков.

— Вот пять франков; прошу вас дать мне сдачи.

Прежде чем отрезать фунт хлеба, булочница взяла монету и стала ее осматривать.

— Это еще что такое? — спросила она, прислушиваясь к тону металла о мрамор прилавка.

— Вы ведь видите: пять франков.

— Кто тебя научил попробовать подсунуть мне эту монету?

— Никто. Мне нужно фунт хлеба на ужин.

— Ну, нет, хлеба я тебе не дам и советую убираться поскорей, если не хочешь, чтобы я велела тебя арестовать.

Перрина больше всего боялась попасть в какую-нибудь историю и в ответ только робко проговорила:

— Меня? За что же?

— За то, что ты воровка...  
— О, сударыня...  
— И хочешь подсунуть мне фальшивую монету... Уйдешь ты отсюда, воровка, бродяга? Подожди, вот я позову сейчас полицейского.

Меньше всего можно было назвать Перрину воровкой, хотя она и сама, наверное, не знала, фальшивая ее монета или настоящая; но насчет бродяжничества спорить не приходилось. Ведь она не могла указать ни определенного места жительства, ни родных. Что скажет она полицейскому? Какие есть у нее доказательства и оправдания? Что с ней будет после ареста? Все эти мысли с быстротой молнии промелькнули в ее голове; но положение ее было столь бедственным, что, несмотря на страх быть арестованной, она рискнула заговорить о своей монете.

— Если вы не хотите дать мне хлеба, то, по крайней мере, возвратите мою монету, — сказала она, протягивая руку.

— Чтобы ты подсунула ее кому-нибудь другому, не так ли? Я оставлю у себя твою монету. Если ты так хочешь ее получить, то пойдешь позови полицейского, и мы с ним вместе разберем, настоящая ли она. А пока вон отсюда, воровка!

Крики булочницы, слышные даже на улице, привлекли внимание трех или четырех прохожих.

— Что тут случилось?

— Эта девочка хотела сломать замок у конторки в булочной.

— Плохо она начинает.

— И как нарочно, на улице нет ни одного полицейского!

Бедная девочка начала бояться, дадут ли ей уйти; но нет, ее пропустили, хотя и осыпали градом всевозможных ругательств. А она, боясь обратить на себя внимание толпы, старалась казаться хладнокровной и шла, не прибавляя шагу, даже не оглядываясь назад.

Наконец, через несколько минут, показавшихся ей часами, она очутилась в поле и здесь с облегчением вздохнула.

У нее не было ни хлеба, ни денег; но она только что избавилась от большой опасности, а в таких случаях о еде не задумываются.

Но когда прошли эти первые минуты, мысль об ужине снова вернулась к ней. Она понимала, что напряжение не сможет поддерживать ее долго, особенно когда надо проходить ежедневно по тридцать километров. Пока у нее были деньги, ее не пугала ни дальняя дорога, ни холод, ни жара; но теперь, всего с одним су в кармане, она обречена свалиться от голода где-нибудь на обочине.

Перрина невольно посмотрела на раскинувшиеся по обе стороны дороги поля, позолоченные последними лучами заходящего солнца, — пшеница уже начинала цвести, дальше виднелась грядка свеклы, лука, капусты. Всего этого еще нельзя было есть, но если бы даже поля эти были покрыты спелыми дынями или кустами клубники, что бы это дало? Она все равно никогда не протянула бы руки, чтобы взять дыню или сорвать клубнику, как не могла бы протянуть руку для того, чтобы попросить милостыни у прохожих: она не воровка, не попрошайка...

Ах, как бы ей хотелось встретить такую же несчастную как и она сама, чтобы спросить, чем живут все бездомные где достают они пищу изо дня в день?

Перрина очутилась на перекрестке двух больших дорог. Обе вели в Кале, одна через Муазель, другая через Экуэн как указывала надпись на столбе. Она выбрала последнюю пошла к Экуэну.

## Глава VII

У нее уже начинали болеть ноги от усталости, а она все продолжала идти, наслаждаясь чудным вечером, довольная, что на дороге теперь совсем не осталось прохожих встречи с которыми в течение дня внушали ей тревогу. И как ни приятно было идти при таких условиях, все-таки приходилось подумать и о ночлеге: иначе, когда совсем уж стемнеет и усталость возьмет свое, ей придется устраиваться на ночь или в придорожной канаве, или на ближайшем поле, что было небезопасно.

Немного погодя Перрине показалось, что она нашла местечко, где можно было бы приютиться на ночь. На одном из полей, засаженных артишоками, она увидела крестьянина который вместе со своей женой торопливо обрывал головки растений и складывал их в корзины; как только какая-нибудь корзина наполнялась, ее сейчас же относили на повозку, стоящую на дороге. Перрина машинально остановилась по смотреть на работавших. В эту минуту появилась другая повозка, которой правила девочка.

— Оборвали вы свои артишоки? — крикнула она.

— Давно пора было, — отвечал крестьянин, — как будто приятно ночевать здесь все ночи и стеречь их от воров; сегодня, по крайней мере, я буду спать у себя дома.

— А на том клочке, который принадлежит Монно?

— Монно — хитрец; он говорит, что его участок стерегут другие. Во всяком случае, этой ночью не я его буду стеречь... Ничего не будет удивительного, если к завтрашнему утру его обчистят!

Все трое разразились громким смехом, свидетельствующим, что они не особенно заботились об интересах этого Монно, который пользовался бдительностью своих соседей, чтобы спокойно спать самому.

— Это было бы забавно!

— Погоди минутку, мы тоже едем; у нас все готово.

И несколько минут спустя обе повозки удалились по направлению к деревне.

Тогда, несмотря на сумерки, Перрина разглядела со своего наблюдательного поста, чем отличались оба смежных участка друг от друга: с одного уже собрали весь урожай, а на другом было еще полно толстых несрезанных плодов. На границе участков стоял небольшой шалаш из ветвей; в этом шалаше только что уехавший крестьянин проводил ночи, о которых сожалел только потому, что вместе с своим полем ему приходилось стеречь и поле соседа. Как счастлива была бы Перрина, если бы могла устроиться на ночь в этом шалаше!

Но едва эта мысль мелькнула в ее голове, как она тотчас спросила себя, почему бы ей не воспользоваться шалашом. Что могло быть тут дурного, раз он покинут? И потом, ее здесь никто не потревожит: вряд ли кто-нибудь придет на поле, с которого все уже собрано. Наконец, неподалеку виднелся кирпичный завод, и вырывающиеся из трубы красные языки пламени подтверждали, что там шла работа и бодрствовали люди, — еще одно доказательство безопасности избранного пристанища.

Когда мрак совсем сгустился и последние звуки дня замерли в отдалении, она встала, легкой тенью быстро проскользнула по полю с артишоками и пошла к шалашу. Он оказался даже лучше, чем она представляла: толстый слой соломы покрывал землю, а вязанка камыша могла служить подушкой.

От самого Сен-Дени бедная девочка шла в постоянном страхе; несколько раз она оглядывалась, чтобы посмотреть, не гонятся ли по ее пятам жандармы из-за истории с фальшивой монетой. Но здесь, в шалаше, было тихо и уютно, и девочка мало-помалу успокоилась.

Не пробыла Перрина в шалаше и двадцати минут, как она вновь почувствовала голод, о котором ей на время удалось позабыть. Сегодня она обойдется без еды и после всего перенесенного за день отлично уснет и голодная, но завтра, послезавтра, наконец... Чем будет она питаться в течение всех этих пяти или шести дней пути до Марокура? На одно су много не купишь, разве только хлеба... А что будет дальше?

Она закрыла глаза и, наконец, заснула, думая о своих умерших отце и матери.

Но как ни сильна была усталость, спала Перрина тревожно и часто просыпалась. Стук проезжавшей по дороге повозки, грохот промчавшегося поезда будили ее, и она испуганно открывала глаза; но сон скоро брал свое, и минуту спустя в шалаше опять слышалось ее спокойное, ровное дыхание.

Раз ей показалось, что на дороге, недалеко от шалаша, остановилась повозка. Девочка подняла голову и стала прислушиваться. Где-то совсем близко разговаривали полусшепотом и слышался шум от падения на землю каких-то легких предметов. Перрина приподнялась, стала на колени и выглянула через одно из отверстий, сделанных в шалаше. В конце поля стояла повозка, и при бледном мерцании звезд ей показалось, что какая-то тень выкидывала из нее корзины, а еще два человека подбирали их и относили на соседний участок, принадлежащий Монно. Что они тут делали, да еще ночью?

Прежде чем она успела найти ответ на этот вопрос, повозка уехала, а обе темные фигуры перешли на поле с артишоками; вслед за этим она услышала короткие и быстрые удары, словно там что-то рубили.

Тогда Перрина поняла все: это были воры, грабившие участок Монно. Они быстро срезали артишоки и бросали им в корзины, привезенные на повозке, которая, по всей вероятности, вернется, чтобы увезти собранные плоды; теперь же она скрылась, чтобы не привлечь внимание случайных прохожих.

Перрина страшно перепугалась, и происходящее вовсе не показалось ей забавным, как говорили вечером крестьяне; она в ту же минуту поняла, какая ей грозила опасность. Правда, ее едва ли могли заметить: ведь грабители и приехали-то лишь потому, что наверняка знали, что шалаш около поля Моно в эту ночь остался пустым. Но вдруг их здесь застанут и арестуют и при этом найдут ее? Кто заступится за нее и как докажет она, что не была их сообщницей?

При этой мысли она похолодела и почувствовала, как вся обливается ледяным потом; в глазах у нее помутилось, и она уже больше ничего не видела, хотя продолжала все время слышать сухие удары ножей, срезавших артишоки.

Еще несколько долгих минут продолжалась эта необычная ночная работа, потом послышался резкий свист, а за ним стук колес по дороге, — и уезжавшая на время повозка опять стояла в конце поля; в одну минуту сложили на нее воры свою добычу и во весь опор пустились по дороге к Парижу.

Если бы Перрина могла определить, который теперь час, то она, пожалуй, попыталась бы еще заснуть до зари, но, не зная, сколько времени она провела в шалаше, она решила, что благоразумнее будет пуститься в путь. В деревнях встают рано, и если утром кто-нибудь из крестьян увидит ее идущей с этого опустошенного участка поля или даже если ее заметят где-нибудь поблизости, то ее могут заподозрить и, пожалуй, даже арестовать.

С этими мыслями Перрина покинула шалаш, проскользнула по полю, прислушиваясь и зорко всматриваясь в царившую кругом темноту, добралась без приключений до большой дороги и быстро зашагала вперед. Звезды, мерцавшие чистом небе, побледнели, возвещая о приближении утра.

## Глава VIII

Пройдя немного по дороге, она увидела впереди темные, нечеткие очертания крыш и труб на фоне начинавшего светлеть неба, тогда как с другой стороны все оставалось еще погруженным во мрак.



Дойдя до первых домов, Перрина инстинктивно постаралась ступать как можно тише, но эта предосторожность была Излишней: лишь кошки бродили по улице, да кое-где раздавался лай собак, но их бояться не приходилось, так как все ворота были еще заперты. Обитатели деревни словно вымерли.

Но Перрина вздохнула спокойно только тогда, когда прошла всю деревню и выбралась в поле; здесь она зашагала медленнее, решив, что уже достаточно удалилась от опасного места. Бедняжка чувствовала, что не сможет продвигаться вперед с такой же быстротой; ноги отказывались служить ей, и, несмотря на свежий утренний ветерок, кровь прилиwała к голове, так что она брела, как больная, пошатываясь из стороны в сторону.

С каждой минутой силы девочки таяли, кровь сильнее прилиwała к голове, в ушах раздавался звон, и она хорошо понимала, что это результаты невольного голодания, которое в конце концов свалит ее с ног.

Что станет с ней, если она ослабеет настолько, что не будет в состоянии идти?

Перрина решила, что самое лучшее — дать себе небольшой отдых. В это время она проходила мимо поля, засеянного люцерной, которая была уже скошена и собрана в небольшие копны. Девочка перепрыгнула через канаву, отделявшую поле от дороги, и, проделав углубление в одной из копен, с головой зарылась в благоухающее свежее сено. Кругом в полях еще царила мертвая тишина. Все было погружено в сон. Покой и тепло, вместе с благоуханием свежескошенной травы, успокоили приступы тошноты, и девочка скоро заснула.

Когда Перрина проснулась, солнце стояло уже высоко на небе, согревая землю своими лучами, а в полях вокруг работали мужчины и женщины. Недалеко от нее несколько человек пололи овес; сначала это соседство немного обеспокоило ее, но вскоре она удостоверилась, что они или даже не подозревали о ее присутствии, или же это их вовсе не интересовало. Улучив минуту, когда вблизи никого не было, она осторожно выбралась обратно на дорогу.

Сон немного восстановил силы девочки, и она довольно бодро прошла несколько километров, хотя в желудке уже начинались спазмы от голода; головокружение возобновилось, сопровождаясь теперь еще и нервной зевотой, а виски точно были сдавлены тисками. Когда Перрина взошла на вершину холма и увидела оттуда на противоположном склоне дома большого селения, над которыми возвышалась кровля утопавшего в зелени замка, она решила купить в деревне кусок хлеба.

В кармане у нее оставалось еще одно су: почему не пустить его в дело, вместо того, чтобы добровольно терпеть голод? Правда, потом ей придется рассчитывать только на счастливый случай. Ведь есть же люди, которые находят серебряные монеты на больших дорогах... Почему бы и на ее долю не могла выпасть такая счастливая случайность! Разве мало видела она горя?..

Сначала Перрина внимательно осмотрела свою монетку, пытаясь определить, настоящая ли она. К несчастью, она не совсем представляла, как отличить настоящие французские деньги от поддельных, и потому была сильно взволнована, когда решила войти в первую попавшуюся булочную, боясь, как бы и здесь не приключилось то же, что и в Сен-Дени.

— Не отрежете ли вы мне хлеба на одно су? — спросила она.

Не говоря ни слова, булочник протянул ей маленький хлебец в одно су, который достал с полки: но вместо того, чтобы взять его, Перрина стояла в нерешительности.

— Может быть, вы мне отрежете кусок? — проговорила она робко. — Мне не обязательно нужен очень свежий.

— В таком случае — вот тебе...

И он дал ей, не взвешивая, кусок хлеба, пролежавший уже два или три дня...

Кусок этот, правда, был черствый, но зато он был вдвое больше маленького хлебца в

одно су.

Едва только купленный кусок очутился в ее руках, как она почувствовала, что рот ее наполнился слюной; но как ни хотелось ей есть, она все-таки выждала, пока не прошла всю деревню... Это не заняло много времени; несколько сот шагов — и девочка была уже в поле. Здесь она достала из кармана нож и, сделав на краюшке крестообразный надрез, разделила ее таким образом на четыре части, потом отрезала одну часть, которая должна была служить ее единственной пищей в течение всего дня; остальные три части она оставила на следующие дни, рассчитывая, что, как бы малы они ни были, они помогут ей добраться до окрестностей Амьена.

Пока она шла по деревне, этот расчет казался ей простым и верным; но едва она проглотила первый кусочек из своей дневной порции, как почувствовала, что никакие рассуждения не властны над голодом. Она была голодна; ей безумно хотелось есть, и она с жадностью уничтожила первый кусок, обещая себе второй прожевывать медленно, чтобы растянуть его как можно дольше; но и этот был проглочен с той же жадностью, а за вторым с такой же быстротой последовал и третий... Она стыдилась самой себя, говорила, что это глупо и низко, но слова оставались бессильны перед муками голода. Единственное оправдание для себя Перрина видела в ничтожных размерах порций: вся краюшка весила от силы полфунта, а ей и целого фунта было бы мало, чтобы наестся как следует: ведь вчерашний день она провела без пищи, а накануне смерти матери весь обед ее состоял из бульона, полученного в угощение от Карася.

Кончилось все это тем, что и четвертая порция была съедена вслед за третьей. Девочка просто была не в силах побороть искушение и понимала, что иначе она и не могла поступить.

Но когда была съедена последняя крошка и Перрина продолжила свой путь по пыльной дороге, ее опять стали одолевать мысли о том, что будет делать она уже завтра, когда голод снова напомнит о себе.

Но еще раньше ей пришлось страдать от жажды. Утро было знойное, дул сильный южный ветер, и ослабевшая девочка шла вся в поту, вдыхая сухой, раскаленный воздух. Сначала приступы жажды ее вовсе не беспокоили: вода принадлежит всему миру, и не надо заходить в лавку, чтобы ее купить; она напьется вволю из первого же попавшегося на дороге ключа или реки... Но ее путь пролегал по тому плоскогорью Иль-де-Франс, где от Рульона до Тэв нет ни одной реки, только несколько потоков, которые лишь зимой бывают полны водой, а летом совершенно пересыхают. Кругом, насколько хватал глаз, тянулись бесконечные поля, засеянные пшеницей, рожью или овсом; по холмам были разбросаны деревни, но нигде не виднелось ни одного деревца, столь пышно растущего там, где есть вода.

В маленькой деревушке за Экуэном она напрасно искала глазами колодец — его нигде не было видно. В деревнях вообще не особенно-то заботятся об удобстве случайных прохожих, и каждый предпочитает держать колодец у себя во дворе или брать воду у соседа.

Перрина прошла всю деревню, не отваживаясь зайти в какой-нибудь дом и попросить напиться. Она заметила, что ее появление в деревне вызвало всеобщее внимание и притом отнюдь не самое дружеское; даже собаки, и те как-то особенно сердито скалили зубы на непрошеную гостью. Как бы еще не арестовали ее, если она вздумает попросить воды! Если бы у нее за спиной был мешок с каким-нибудь товаром, занимайся она хотя бы сбором тряпья или торговлей, ее, конечно, никто и не подумал бы останавливать. Но с пустыми руками ее могли принять за воровку, которая ищет поживы для себя или же разведывает обстановку, чтобы ночью привести свою шайку.

Тем временем стало темнеть на глазах; со стороны Парижа появилась большая черная туча, затянувшая весь горизонт. Похоже, должен был хлынуть дождь, а раз будет дождь, будет и вода для утоления жажды.

Пронесся вихрь, пригнувший к земле колосья и даже сорвавший кое-какие придорожные кусты... Перед собой он гнал клубы пыли, листья, солому, сено. Потом, когда

все опять затихло, на юге послышались далекие раскаты грома, быстро следовавшие один за другим.

Боясь, как бы ветер не сбил ее с ног, Перрина легла ничком в канаву, прикрыв руками глаза и рот; но раскаты грома заставили ее подняться. Если сначала, измученная жаждой, она думала только о дожде, то гром напомнил ей, что туча несла с собой не только ливень.

Где можно укрыться на этой громадной, обнаженной равнине?

Вихрь унес дальше облака пыли, и, осматриваясь кругом, Перрина увидела впереди, километрах в двух от себя, опушку леса, через который пролегла дорога; девочка подумала, что, быть может, там ей удастся найти какое-нибудь убежище на время грозы, хотя бы, например, дупло большого дерева.

Времени терять было нельзя: гроза надвигалась быстро, мгла сгущалась, раскаты грома слышались все ближе, превращаясь в один сплошной рев, и молнии то и дело прорезывали мрачные, черные тучи.

Успеет ли она достигнуть опушки леса до грозы? Она шла так быстро, как только могла, но грозные тучи неслись гораздо быстрее, и яркие молнии теперь уже огненными кольцами обвивали все небо...

Тогда, прижав локти к груди и согнувшись, она пустилась бежать, стараясь, однако, рассчитывать силы, чтобы не упасть и не задохнуться. Но как ни торопилась она, гроза все надвигалась и грохотом своим точно кричала ей вслед, что нее равно догонит беглянку...

К счастью, до леса оставалось недалеко, и уже совсем близко девочка видела высокие деревья.

Через несколько минут она была в лесу. Кругом уже настолько стемнело, что глаза Перрины с трудом различали отдельные предметы. При блеске молнии, ярким светом озарившей лес, она заметила небольшой шалаш, к которому вела дорога, вся изрытая колеями, и направилась к нему.

При следующей вспышке молнии она убедилась, что не ошиблась в своем предположении. Это действительно был шалаш из хвороста, с крышей из связанных в пучки прутьев, устроенный дровосеками для защиты от ненастной погоды. Еще несколько шагов — и она будет вне опасности. Собрав последние силы, девочка с трудом протащила это небольшое расстояние и в изнеможении повалилась на груды стружек, покрывавших землю.

Не успела Перрина отдышаться, как ужасный шум наполнил весь лес; деревья так скрипели, стонали и трещали, что, казалось, пришел их последний час; могучие стволы гнулись едва не до земли, сухие ветви падали, давя своей тяжестью молодые побеги.

Выдержит ли шалаш этот ураган, не рухнет ли он при следующем более сильном напоре ветра?

Перрине не пришлось долго над этим задумываться: перед ее глазами сверкнула молния, какая-то невидимая сила отбросила ее назад, и она навзничь повалилась на стружки, ослепленная, оглушенная, осыпанная ветвями. Очнувшись, она прежде всего осмотрела себя, чтобы убедиться, жива ли она еще, и в тот же миг увидела неподалеку белевший в темноте дуб, пораженный молнией; вдоль оголенного ствола дерева висели две оторванные громадные ветви, и ветер со стоном крутил и раскачивал их во все стороны.

Пока она смотрела, испуганная, дрожащая при мысли о смерти, пронесшейся так близко, в лесу стало еще темнее; затем послышался шум, более мощный, чем шум курьерского поезда: это были дождь и град, вместе обрушившиеся на лес. Шалаш затрещал сверху донизу, крыша его вздыбилась от ветра, но, несмотря на это, он все еще стоял и не рушился.

Вода потоками лила по покатоному склону крыши, и Перрине стоило только протянуть руку и подставить ладони, чтобы утолить свою жажду.

Оставалось терпеливо ждать окончания грозы; если шалаш устоял при первых порывах бури, то дождь он точно выдержит. Ни один дом, как бы прочен и роскошен он ни был, не мог бы сравниться в настоящую минуту с шалашом, хозяйкой которого была теперь Перрина. Несмотря на то, что молнии еще продолжали сверкать и гром все так же грохотал, а

дождь лил как из ведра, уверенная в прочности своего убежища Перрина беззаботно улеглась на стружках и вскоре уснула, вспоминая слова своего отца: спасаются только те, у кого хватает храбрости бороться до конца.

## Глава IX

Когда Перрина проснулась, гроза уже прошла, но дождь лил не переставая и застилал все водяным туманом. Продолжать путь было невозможно — приходилось покориться необходимости и ждать.

Но это обстоятельство несколько не тревожило девочку. Перспектива провести ночь в лесу ее не пугала, а шалаш даже нравился ей: он отлично выдержал бурю, а толстый слой стружек превращал его в удобное и надежное убежище. Если уж ей приходится ночевать здесь, то, конечно, лучше всего для этого подойдет шалаш, в котором она только что так хорошо выпалась.

С того момента, как Перрина покинула Париж, она не имела ни времени, ни возможности заняться своим туалетом; между тем песок и пыль толстым слоем покрывали ее с головы до пят, отчего во всем теле чувствовался страшный зуд. Здесь она была в полном одиночестве и смело могла приняться за приведение себя в приличный вид, тем более что вырытые вокруг шалаша отводные канавки были полны воды...

В кармане юбки Перрины, кроме географической карты и брачного свидетельства матери, хранился еще и маленький сверточек. В нем лежал кусок мыла, небольшой гребешок, наперсток и клубок ниток с двумя воткнутыми в него иголками. Перрина развязала тряпочку и, сняв кофточку, башмаки и чулки, наклонилась над канавкой, полной чистой дождевой воды, и стала умываться. Вытираться она могла только небольшой тряпкой, в которую были завернуты все ее богатства: все-таки это было лучше, чем ничего.

Умывшись, Перрина причесала свои белокурые волосы и сплела их в две толстые косы. Если бы не голод, снова начинавший терзать ее желудок, да не боль в нагруженных ногах, девочка чувствовала бы себя совсем хорошо. Она успокоилась и готова была бодро идти вперед.

С голодом она ничего не могла поделать: если шалаш и служил надежным убежищем, съестного в нем ничего не хранилось. Что же касается садин, то девочка решила заштопать прорвавшиеся во время ходьбы чулки, чтобы грубая кожа башмаков не так натирала ноги. И она немедленно принялась за работу...

Работа эта была полезна еще и тем, что девочка, занятая починкой обуви, меньше думала о еде.

Но когда эта работа была окончена, голод опять стал брать свое.

Так как из-за дождя Перрина не могла никуда уйти, то она придумала средство если не утолить голод, то, по крайней мере, обмануть свой желудок. Шалаш, как уже говорилось, был покрыт хворостом, и Перрине пришлось в голову нарезать для еды молодых березовых побегов, которые ей легко было достать, взобравшись на кучу сушняка, наваленного в углу шалаша. Еще во время своих странствований с отцом по белому свету она видела, как в некоторых странах из березового сока приготавливают довольно вкусный напиток: значит, это дерево не ядовитое. Но можно ли его есть и можно ли им насытиться?

Надо было попробовать. Она срезала ножом несколько молодых, почти зеленых веточек и, разделив их на маленькие куски, принялась жевать один из них, но нашла это кушанье очень жестким и горьким.

Пока она занималась своим туалетом, чинила чулки, пробовала ужинать березовыми ветками, время шло да шло, и, хотя солнца не было видно, за облаками, затянувшими небо, судя по сгущающейся темноте, уже наступала ночь. Так и было. На землю опустилась ночь,

мрачная, как и всегда в те дни, когда не бывает сумерек. Дождь перестал, но тотчас же поднялся белый туман. В десяти шагах ничего не было видно, а кругом слышался только легкий, мерный шум от последних водяных капель, скатывавшихся с листьев и ветвей на крышу шалаша или прямо в лужи...

Хотя Перрина уже освоилась с мыслью провести здесь ночь, но, тем не менее, ей стало страшно, когда наступила темнота. Положим, она уже провела здесь большую часть дня, и все это время ей не грозила никакая опасность, если не считать страшного удара молнии, опрокинувшего ее на землю. Но лес днем совсем не то, что лес ночью, с его торжественным молчанием и таинственными тенями, так сильно действующими на воображение людей, не привыкших ни к чему подобному.

Вот почему она долго не могла заснуть, несмотря на то, что очень хотела этого.

Какие звери водятся в этом лесу? Нет ли тут волков?

Перрина поднялась со своего ложа, выбрала толстую палку, ножом заострила ее с одного конца, а затем устроила себе еще ограду из хвороста. Если нападут волки, она, по крайней мере, сможет защищаться из-за той ограды, на что, разумеется, храбрости у нее хватит. Это ее успокоило, и когда, уже с оружием в руках, она снова улеглась на свою постель из стружек, то ее сразу же сморил сон.

Разбудило ее пение птицы, торжественное и грустное, с чистыми звучными переливами. Она тотчас же узнала певца: это был черный дрозд. Перрина открыла глаза и увидела, что слабый белесоватый свет пробивается сквозь зеленый покров леса; деревья и ветви четко вырисовывались на бледном фоне утренней зари. Наступило утро.

Дождь перестал, и тяжелые намокшие листья неподвижно поникли на ветвях.

Глубокая тишина, царившая в лесу, нарушалась только пением птицы, раздававшимся над головой девочки. Этому пению издалека вторили другие голоса, точно на утренней переключке, когда сигналы перекатами несутся от одного конца лагеря к другому...

Перрина слушала, обдумывая в то же время, не пора ли ей вставать и идти дальше, и вдруг почувствовала, что ее знобит; от лесной сырости вся одежда ее промокла и теперь, при утренней прохладе, девочка стала мерзнуть. Недолго думая, она быстро поднялась, встряхнулась и собралась идти, решив, что согреется на ходу...

Однако, поразмыслив, она решила не торопиться, а дожидаться полного рассвета, чтобы определить по небу, какая будет погода; прежде чем покинуть этот шалаш, следовало убедиться, не начнется ли опять дождь, как вчера.

Чтобы скоротать время, а также и для того, чтобы быть в движении, она положила на прежнее место связки хвороста, разбросанные ею накануне, потом расчесала волосы и вымылась на берегу канавки, полной воды...

Пока она занималась этим, взошло солнце, и сквозь просветы древесных ветвей блеснуло бледно-голубое, без малейшего облачка, небо: утро будет прекрасное, и, быть может, день окажется не хуже. Надо было отправляться в путь.

Несмотря на починенные чулки, идти ей было тяжело: так сильно болели ее ноги с первых же шагов. И все же она смело и бодро пошла по дороге, которая, впрочем, после дождя стала гораздо мягче. Косые лучи поднимавшегося солнца согревали ей спину, бросая в то же время на песок удлиненную тень, следовавшую рядом с ней. По своей тени Перрина могла заметить происшедшую в ней перемену: это не была уже тень бедного оборвыша с растрепанными, всклокоченными волосами; теперь девочка выглядела так, что могла надеяться на более дружелюбную встречу в деревнях.

Погода была так чудесна, что в сердце бедняжки снова затеплилась надежда. Перрине казалось, что никогда еще не было такого прекрасного, такого радостного утра; гроза и дождь все очистили, все вымыли и вдохнули новую жизнь в природу, которая словно впервые расцвела в эту самую ночь; вверху, в небесной синеве, купаясь в солнечных лучах, весело распевали жаворонки, а с полей, окружавших лес, поднимался свежий запах трав и цветов...

Неужели в то время, как вся природа ликует, прославляя Творца, только одна Перрина

не разделит этого восторга? Неужели несчастье всегда будет преследовать ее? Почему бы не выпасть счастливой случайности и на ее долю? Не было ли хорошим знаком то, что она нашла убежище в лесу, и не сулило ли ей это удачу и дальше? Быстро шла Перрина, и фантазии одна за другой рождались в ее голове. Она уже начинала мечтать о возможности найти на дороге оброненные кем-нибудь деньги: ведь люди так часто теряют кошельки, которые потом кто-нибудь находит. Разве не может случиться, что и она найдет не кошелек, конечно, нет, — а просто монету в одно су или, самое большее, в десять су, которые она без всякого угрызения совести могла бы потратить на себя: для потерявшего это не было бы большим ущербом, а ее спасло бы от голодной смерти. Может быть, ей удастся оказать кому-нибудь услугу или выполнить работу и получить за свой труд несколько су... Ведь ей так немного нужно для того, чтобы просуществовать еще три или четыре дня.

И она продолжала идти, внимательно рассматривая каждый камешек и, конечно, не находя ни одной монетки, выпавшей из чужого кармана; не представлялось случая и подработать, хотя мысленно она успела уже наработаться вволю и получить за это не одно су.

А между тем голод снова начал мучить ее и с такой силой, что Перрина боялась, что не будет в состоянии идти: боли под ложечкой, тошнота, головокружение, обильный пот отнимали у нее последние силы.

Скоро она подошла к полю, засеянному горохом, и здесь увидела четырех девочек примерно одних с ней лет и крестьянку: они обрывали стручки. Собрав всю свою храбрость, она перепрыгнула через дорожную канаву и направилась к крестьянке. Та, заметив приближение девочки, крикнула ей:

— Что тебе надо?

— Я хотела вас спросить, не возьмете ли вы меня поработать?

— Нам никого не нужно.

— Я возьму что дадите.

— Откуда ты?

— Из Парижа.

Одна из девочек подняла голову и, бросив на нее недружелюбный взгляд, крикнула:

— Эта бродяга пришла сюда из Парижа отнимать работу у других.

— Я же сказала тебе, что нам никого не нужно, — продолжала крестьянка.

Перрине оставалось только опять перепрыгнуть через канаву и снова пуститься в путь.

— Жандармы идут! — крикнула ей другая девочка. — Спасайся!

Перрина быстро обернулась; все девочки расхохотались, довольные своей шуткой.

Перрина сделала несколько шагов и остановилась. Слезы застилали ей глаза. Что она им сделала, чтобы заслужить такую жестокость с их стороны?

Выходит, бродягам так же трудно найти себе работу, как и потерянное су. Теперь Перрина хорошо понимала это и потому решила больше никому не предлагать своих услуг.

Полуденное солнце окончательно сломило ее; она еле-еле волокла ноги, поминутно останавливаясь, чтобы отдохнуть и собраться с силами.

Так она перешла все поле и опять достигла леса, через который пролегалa дорога. Как ни сильно пекло солнце в поле, но в лесу духота становилась просто нестерпимой: хоть бы малейший ветерок, хоть бы глоток свежего воздуха.

Бедная девочка изнемогала и, наконец, изнуренная до последней степени, вся в поту, повалилась на траву, будучи не в силах даже шевельнуться.

Послышался стук колес, и мимо нее проехала телега.

— Ну, и жара, — проговорил правивший лошадей крестьянин, — сил нет терпеть, хоть умирай!

Уже начинавшая бредить Перрина приняла эти слова за произнесенный над ней

приговор.

Итак, значит, это правда — она должна умереть; она успела свыкнуться с этой мыслью, и этот вестник смерти только повторил уже известное ей.

Ну, что ж, она умрет. Безумием было бы с ее стороны идти наперекор судьбе и продолжать бороться. Она все равно ничего не могла бы поделать. Отец и мать умерли, теперь настал ее черед.

Печалило ее только одно: отчего не умерла она раньше, вместе с ними. Тогда ей не пришлось бы погибать здесь, в этой канаве, одинокой, покинутой, как какому-нибудь зверьку...

Тогда Перрина решила сделать еще последнее усилие: войти в лес и поискать там место, где она могла бы лечь и уснуть последним сном, скрывшись от любопытных глаз. Немного дальше шла поперечная дорога; девочка пошла по ней и в пятидесяти метрах от дороги нашла маленькую прогалинку, покрытую травой и красивыми лиловыми цветочками. Перрина присела в тени каштанового дерева и затем, вытянувшись на траве, положила голову на руку, как делала это, засыпая каждый вечер...

## Глава X

Неизвестно, как бы долго проспала Перрина, если бы прикосновение чего-то теплого к лицу не разбудило ее. Девочка испуганно открыла заспанные глаза и увидела большую, косматую голову, наклонившуюся над ней.

В первую минуту она инстинктивно хотела было откинуться в сторону, но тотчас узнала обладателя огромного языка, лизнувшего ее прямо в лицо.

Перрина увидела стоящего над ней осла и сразу узнала в нем своего старого друга.

— Паликар! Мой милый Паликар!

Она обхватила шею ослика руками и стала целовать его, заливаясь слезами.

Услышав свое имя, осел перестал ее лизать и, подняв голову, издал несколько радостных возгласов.

В это время Перрина рассмотрела, что он был без сбруи, без недоуздка и со спутанными ногами.

Приподнявшись, чтобы лучше охватить его шею и прижать его голову к своей, поглаживая его одной рукой, в то время как он, в свою очередь, опускал к ней свои длинные уши, Перрина услышала, как чей-то хриплый голос закричал:

— Что там с тобой случилось, старый шут? погоди немножко, я сейчас приду, мой милый!

На дороге раздался звук торопливых шагов, и Перрина увидела мужчину в блузе и кожаной шляпе.

— Эй, девчонка, что это ты делаешь с моим ослом? — крикнул он ей.

Перрина тотчас же узнала старьевщицу Ла-Рукери, опять в мужской одежде. Именно ей она продала Паликара на конном базаре; но старьевщица сначала не узнала ее и только спустя некоторое время стала удивленно приглядываться к девочке.

— Я где-то видела тебя! — проговорила она.

— Да, когда я вам продавала Паликара.

— Так это ты, девочка? Что ты здесь делаешь?

Перрина не успела ничего ответить; она вдруг почувствовала такую слабость, что опять опустилась на землю, и только ее бледное лицо да глаза, полные слез, говорили красноречивее всяких слов.

— Что с тобой? — спросила Ла-Рукери. — Ты больна?

Перрина едва шевелила губами, не в силах произнести слова; бледная, взволнованная,

дрожа как в лихорадке, лежала она на земле, вытянувшись во всю длину своего маленького детского тельца.

— Ну, — воскликнула Ла-Рукери, — что же ты, даже не можешь сказать мне, что с тобой?

Но именно этого и не была в состоянии сказать Перрина, хотя и сознавала все, что вокруг нее происходило.

Ла-Рукери была женщина опытная, отлично знавшая нищету во всех ее видах.

— Она, чего доброго, еще умрет с голоду, — прошептала торговка.

Недолго думая, она направилась к дороге, где стояла маленькая распряженная тележка, боковые решетки которой были украшены кроличьими шкурками, поспешно открыла сундучок, достала откуда краюшку хлеба, кусок сыра и бутылку вина и принесла все это девочке.

Перрина все так же лежала на земле.

Ла-Рукери стала перед ней на колени и приложила горлышко бутылки к ее губам.

— Выпей-ка хорошенько, это тебя подкрепит.

Девочка сделала глоток, другой, и легкий румянец заиграл на ее бледном личике.

— Ты, значит, голодна?

— Очень...

— Ну, так надо поесть, только осторожно, потихоньку... подожди немного.

Ла-Рукери отрезала кусок хлеба, положила на него сыр и подала Перрине.

— Главное — не сразу; лучше я поддержу тебя.

Предостережение было разумно: судя по тому, как принялась Перрина за хлеб, она могла и не послушаться наставлений Ла-Рукери.

Все это время Паликар, лежа на траве, смотрел на происходящее своими большими, кроткими глазами; но когда Ла-Рукери села рядом с Перриной на траву, он встал возле нее на колени.

— И тебе захотелось хлеба? — проговорила Ла-Рукери.

— Позвольте мне дать ему кусочек.

— Хоть два, хоть три, сколько хочешь... когда кончится этот хлеб, я принесу еще. Славное животное так радо, что опять нашло тебя. Знаешь, ведь он и в самом деле очень добрый.

— Вы заметили это?

— Когда доешь свой кусок, то расскажешь мне, как ты очутилась в этом лесу; полумертвая от голода, а теперь мне жалко прерывать твоё занятие.

Несмотря на наставления Ла-Рукери, кусок хлеба был быстро уничтожен.

— Ты, может быть, хочешь еще?

— По правде говоря, да.

— Ну, так я дам тебе еще, но только после того, как ты расскажешь мне свою историю; нельзя есть так много после долгого голодания, это вредно.

Перрина стала рассказывать; когда она дошла до приключения в Сен-Дени, Ла-Рукери разразилась целым градом ругательств по адресу булочницы.

— А знаешь ли ты, что она тебя обокрала! — воскликнула старьевщица. — Я никогда не даю фальшивых монет просто потому, что саму меня никогда не обманут. Будь спокойна, она мне ее отдаст, когда я опять буду проезжать через Сен-Дени, иначе я подниму против нее весь квартал; у меня есть там друзья, и мы с ней разделаемся по-своему...

Перрина рассказала свою историю до конца.

— Итак, ты собралась умирать, бедняжка, — проговорила Ла-Рукери, — что же ты чувствовала?

— Я испытывала такие мучения, что кричала, как кричат ночью, когда задыхаются;



потом я видела во сне рай и вкусные угощения, которые собиралась есть; мама ждала меня там и готовила мне шоколад на молоке.

— Что ты думаешь делать дальше?

— Продолжать свой путь...

— А что ты думаешь есть завтра? Только в твоём возрасте и можно идти так, куда глаза глядят.

— Что же мне делать?

Ла-Рукери подумала немного и произнесла:

— Вот что, милочка. Я иду до Крейля, не дальше, и буду скупать свой товар в попутных деревнях и городах, а по дороге буду сворачивать немного в сторону, в Шантильи, Санлис; ты пойдешь со мной, если у тебя хватит силы. Попробуй-ка крикнуть хоть в полсилы: «Кроличьи шкурки, тряпки, железо старое покупаем!»

Перрина исполнила это приказание.

— Отлично! У тебя чистый голос, а у меня болит горло; ты будешь кричать за меня и зарабатывать на хлеб. В Крейле я знаю яичника, который возит яйца на продажу в Амьен, а оттуда уже недалеко до Марокура, где живут твои родственники. Я попрошу его подвезти тебя в его тележке, а в Амьене ты сядешь на машину. Я дам тебе взаймы сотню су, взамен тех, что у тебя украла булочница, которая мне их вернет; в этом ты можешь быть уверена.

## Глава XI

План Ла-Рукери был приведен в исполнение.

За неделю Перрина успела побывать во всех деревнях, расположенных по обе стороны леса Шантильи: в Гувье, Сен-Максимине, Сен-Фирмене, Монлевеке, Шамане, а когда, наконец, они прибыли в Крейль, Ла-Рукери предложила девочке остаться с нею.

— У тебя прекрасный голос, очень подходящий для торговли тряпьем; ты бы и мне сделала одолжение, да и самой тебе было бы на пользу: ты могла бы зарабатывать хорошие деньги.

— Очень вам благодарна, но мне нельзя.

Тогда Ла-Рукери попробовала пустить в ход другой довод:

— И Паликар был бы всегда с тобой.

Напоминание об осле смутило Перрину, но она тотчас же поборолла свое волнение.

— Мне необходимо идти к моим родным.

— Разве твои родные спасли тебе жизнь, как сделал это Паликар?

— Я не сдержала бы обещания, которое дала матери, если бы не поехала.

— Ну, так отправляйся; но если когда-нибудь тебе придется пожалеть, что ты отказалась от моего предложения, так уж пеняй сама на себя.

— Поверьте, я никогда не забуду того, что вы для меня сделали.

Ла-Рукери, хотя и обиделась из-за отказа, но вовсе не до такой степени, чтобы забыть свое обещание относительно дальнейшего путешествия Перрины вместе с торговцем яйцами. Таким образом, целые сутки Перрина ехала в удобной повозке под парусиновым чехлом, вместо того чтобы тащиться пешком по пыльной дороге. В Эссенто она ночевала в риге, а на следующий день, в воскресенье, была уже на вокзале в Альи и, стоя перед окошечком кассы, протягивала свою монету в сто су, которую на этот раз никто не подумал объявить фальшивой. Кассир взял деньги и вместе с двумя франками семьдесятю пятью сантимами сдачи вручил девочке билет до Пиккиньи, куда она приехала в одиннадцать часов утра.

За несколько дней, проведенных с Ла-Рукери, Перрина успела зашить юбку и кофточку, сделать маленькую косынку из тряпок, выстирать белье и привести в приличный вид башмаки; в Альби, в ожидании отхода поезда, она сходила на реку, умылась, причесалась и теперь выходила из вагона чистой, свежей и веселой.

Но такой бодрый вид объяснялся не тем, что в кармане ее побрякивали пятьдесят пять су и что сама она уже не казалась, как прежде, жалкой бродяжкой: ее поддерживала надежда, что после всего перенесенного для нее теперь наступают лучшие времена.

Оставив позади себя вокзал, Перрина перешла мост над шлюзами и весело направилась дальше по зеленому лугу; то тут, то там виднелись небольшие озера, или, скорее, болотца, на берегах которых постоянно сидели рыболовы с удочками. Болота чередовались с торфяными ямами, и на пожелтевшей траве виднелись ряды маленьких, черных кубиков, помеченных белыми буквами или номерами; это были кучи торфа, разложенные для просушки.

Сколько раз отец Перрины рассказывал ей об этих торфяных ямах и о больших прудах, которые наполнились водой после того, как из них был извлечен торф: это придавало всей долине Соммы своеобразный вид. Благодаря этим рассказам, край, по которому она проходила, не казался ей незнакомым: она именно так и представляла себе и эти обнаженные, лишенные растительности холмы, окаймлявшие долину, и стоящие на их вершинах ветряные мельницы, вертящиеся даже в тихую погоду под веянием морского бриза.

Узнала она и первую попавшуюся ей на дороге деревушку с красными черепичными крышами: то было селение Сен-Пипуа, где находились ткацкие и канатные фабрики, зависевшие от Марокурских заводов. Вдали сквозь зелень тополей виднелись черепичные крыши сельских церквей и высокие, красные трубы фабрик, над которыми по случаю воскресного дня не вились клубы дыма.

Когда Перрина проходила мимо церкви, там только что кончилась обедня. Прислушиваясь к разговорам выходявших из церкви прихожан, Перрина узнала медленный, певучий пикардийский говор, подражанием которому в детстве так часто забавлял ее отец.

Между Сен-Пипуа и Марокуром дорога, окаймленная ивами, извивается среди торфяных ям, пробираясь по менее зыбкой почве. Люди, идущие по ней, видят дальнейший путь только на несколько шагов вперед. Поэтому Перрина едва не налетела на молодую девушку, медленно шагавшую с тяжелой корзиной, которая висела у нее на руке.

Перрина настолько уже приободрилась, что даже осмелилась сама заговорить с девушкой.

— Эта дорога ведет в Марокур, не правда ли?

— Да, все прямо.

— О, все прямо, — смеясь, повторила Перрина, — только сама дорога не слишком-то прямая.

— Я иду в Марокур, и если вы боитесь заблудиться, то пойдемте вместе.

— С удовольствием, если вы позволите мне помочь вам нести корзину.

— От этого я не откажусь: она и в самом деле тяжелая. — И девушка поставила корзину на землю и с облегчением вздохнула.

— Вы из Марокура? — спросила она Перрину.

— Нет. А вы?

— Конечно, я оттуда.

— Вы работаете на фабрике?

— Да, как и все, я работаю при *cannetieres*.

— Что это такое?

— Ну, разве вы не знаете, что такое *les cannetieres*, *les epouloirs*? Да откуда же вы?

— Из Парижа.

— И в Париже не знают про *cannetieres*? Чудеса! Ну, так я объясню: это машины, на которых делают нитки для челноков.

— А сколько там платят?

— Десять су в день.

— А работа трудная?

— Не особенно; надо только внимательно смотреть и не мешкать. Вы тоже хотите наняться?

— Да, если меня возьмут.

— Наверное, возьмут, там всех берут, — иначе откуда взялись бы те семь тысяч рабочих, которые трудятся в мастерских. Вам только надо прийти завтра в шесть часов утра к решетке... Ну, довольно, впрочем, болтать: мне нельзя опаздывать.

С этими словами девушка взялась за ручку корзины с одной стороны, Перрина с другой, и они вместе пошли по дороге.

Перрина не могла не воспользоваться случаем узнать кое-что о том, что ее интересовало, но она не решалась прямо расспрашивать эту незнакомую девушку и должна была, болтая обо всем подряд, в то же время наводить разговор только на нужную ей тему.

— Вы родились в Марокуре?

— Да, как и моя мать; а мой отец был из Пиккиньи.

— Ваши родители умерли?

— Да, я живу с бабушкой, которая содержит лавку... с мадам Франсуазой!

— А, мадам Франсуаза!

— Разве вы ее знаете?

— Нет... я просто повторила «мадам Франсуаза».

— Ее, правда, все здесь знают благодаря лавке, а еще потому, что она была кормилицей господина Эдмонда Пендавуана. Если хотят выпросить что-нибудь у господина Вульфрана Пендавуана, то обращаются к ней.

— И им всегда это удается?

— Иногда да, иногда нет; господин Вульфран не всегда бывает в одинаковом настроении.

— Если ваша бабушка была кормилицей господина Эдмонда Пендавуана, то почему она не обращается прямо к нему?

— К господину Эдмонду Пендавуану?! Да он уехал отсюда еще раньше, чем я родилась, и с тех пор его никто не видел. Он поссорился с отцом из-за каких-то дел, когда его посылали в Индию за покупкой джута... Но если вы не знаете, что такое *cannetiere*, то вы, наверное, не знаете, и что такое джут?

— Трава какая-нибудь?

— Конопля, высокая конопля, которую собирают в Индии, ее прядут, ткут и красят на Марокурских фабриках. Благодаря этой-то конопле господин Вульфран Пендавуан и нажил все свое состояние. Ведь господин Вульфран не всегда был богат: он начал с того, что сам правил своей повозкой, в которой возил нитки и куски полотен, которые ткали наши работники. Я говорю вам это потому, что он сам не скрывает этого.

Девушка остановилась.

— Хотите, переменим руки.

— Хорошо, мадемуазель... Как вас зовут?

— Розали. А вас как?

Перрина не хотела открывать свое настоящее имя и назвала первое пришедшее на ум.

— Орели.

Когда, после краткого отдыха, они зашагали дальше, Перрина опять возобновила интересовавший ее разговор.

— Вы сказали, что господин Эдмонд Пендавуан уехал после ссоры с отцом?

— Да, а когда он вернулся, то они еще сильнее разругались, потому что господин Эдмонд женился там на туземной девушке, а здесь господин Вульфран хотел женить его на барышне из самой знатной семьи во всей Пикардии. Он для того-то и построил свой замок, стоивший многие миллионы, чтобы поселить в нем сына и невестку. Господин Эдмонд опять уехал и с тех пор не возвращался, так что даже неизвестно, жив ли он или умер; никто ничего точно не знает, и от него нет писем уже многие годы. Сам господин Вульфран ни с кем не говорит о своем сыне, и племянники его тоже не говорят.

— У господина Вульфрана есть племянники?

— Теодор Пендавуан, сын его брата, и Казимир Бретоннэ, сын сестры, которого он взял к Себе в помощники. Если Эдмонд не вернется, то все богатство и все фабрики господина Вульфрана перейдут к ним.

— Разумеется.

Так как Перрина не хотела выказывать излишнего любопытства, то прошла несколько минут молча, думая, что Розали, у которой язычок был болтлив, не замедлит возобновить разговор сама, что и случилось.

— А ваши родные тоже приедут в Марокур? — спросил она.

— У меня нет родных.

— Ни отца, ни матери?

— Ни отца, ни матери.

— Вы — как и я, но у меня есть добрая бабушка, и она была бы еще добрее, если бы у меня не было дядюшек и тетюшек, которых она не хочет злить. Если бы не они, я не работала бы на фабрике, а сидела бы в лавке. Но она не может поступить по-своему. Так вы совершенно одна?

— Совершенно одна.

— Как же это вы надумали приехать из Парижа в Марокур?

— Мне сказали в дороге, что я, возможно, найду работу в Марокуре, и вместо того, чтобы продолжать свой путь в тот край, где у меня еще остался кое-кто из родных, я свернула сюда. Неизвестно еще, как тебя примут родные, которых не знаешь...

— Это правда, если есть хорошие, то есть и дурные.

— В том-то и дело.

— Ну, не горюйте! Пари держу, что вы найдете работу на фабрике! Десять су за целый день, немного, конечно, но все-таки это кое-что... Кроме того, вы можете добиться того, что будете получать и двадцать два су. Я хочу вас спросить об одной вещи... хотите, отвечайте... не хотите, не отвечайте... Есть у вас деньги?

— Немного.

— Ну, так если это покажется вам удобным, вы можете жить у бабушки Франсуазы. Вам это будет стоить двадцать восемь су в неделю; плата вперед.

— Я могу заплатить эту сумму.

— Только знайте заранее: я вовсе не обещаю вам за эту цену особенно роскошное жилье: вас будет шестеро в одной комнате. Но все-таки у вас будет постель, простыни, одеяло; не у всех они есть.

— Я принимаю это с благодарностью.

— У бабушки не только такие жильцы, которые платят двадцать восемь су в неделю; в новом доме у нас есть и хорошие отдельные комнаты для служащих с фабрики: Фабри, инженера, Монблэ, старшего бухгалтера, Банди, конторщика по иностранной корреспонденции. Если вам когда-нибудь случится с ним разговаривать, не забудьте называть его господином Бэндит; он англичанин и сердится, когда его имя произносят «Банди», — думает, что его хотят оскорбить и назвать «вором».

— Не забуду; впрочем, я говорю по-английски.

— Вы говорите по-английски?

— Да, моя мать была англичанка.

— Вот что! А! Ну, господин Бэндит будет очень рад поговорить с вами по-английски, и он был бы еще больше рад, если бы вы знали все языки, потому что величайшим развлечением для него является чтение по воскресеньям «Отче наш» по одной книге, где эта молитва напечатана на двадцати пяти языках. Дочитав, он начинает ее снова, потом опять, — и так каждое воскресенье. А впрочем, он хороший человек...

## Глава XII

Между деревьями, в два ряда окаймлявшими обе стороны дороги, уже несколько минут то показывались, то опять исчезали справа апсидная крыша колокольни, а слева — украшенная узорчатой резьбой крыша какого-то величественного здания, за которым, немного подалее, виднелись высокие фабричные трубы из красного кирпича.

— Мы подходим к Марокуру, — объявила Розали. — Скоро вы увидите замок господина Вульфрана, потом заводы и фабрики; а деревенские домики мы увидим только, когда подойдем совсем близко: они спрятались за деревьями; а вон там, на той стороне реки, церковь с кладбищем.

Молодые девушки прошли еще немного и достигли места, где с левой стороны дороги деревья были словно нарочно подстрижены, чтобы дать взору путника возможность насладиться чудным видом на замок господина Вульфрана и на расположенные неподалеку фабричные здания, с фасадами, отделанными белым камнем или красным кирпичом. Высокие трубы, поднимавшие к небу свои дымящиеся жерла, застыли над зеленеющими кронами деревьев.

Удивленная Перрина невольно замедлила шаги, тогда как Розали, казалось, и не замечала прелести открывшейся картины.

— Вам нравится это? — спросила Розали, останавливаясь.

— Очень красиво.

— А господин Вульфран живет здесь совсем один, с целой дюжиной лакеев, не считая садовников и конюхов, помещающихся вон в тех флигелях в конце парка, у входа в деревню.

Подхватив корзину, девушки продолжили свой путь, и скоро перед ними предстала уже вся масса фабричных зданий; одни строения — новые, другие — старые, и все они сосредоточились вокруг огромной трубы, царившей над всем окружающим; труба эта была серого цвета с черным верхом.

Они приблизились к первому дому. Внимание Перрины теперь всецело было занято происходящим вокруг: она так много слышала про эту деревушку.

Особенно поражала Перрину многочисленность здешнего населения; мужчины, женщины и дети в праздничных одеждах или сновали по улицам, вокруг своих домов, или собирались в небольших залах, через открытые окна которых можно было видеть все происходившее внутри; даже в городе нечасто увидишь такое скопление народу.

— Ну, вот мы и пришли, — проговорила Розали, показывая свободной рукой на маленький каменный домик, обнесенный аккуратно подстриженной живой изгородью. — Во дворе и там дальше — помещения, которые сдаются рабочим; в доме лавка, а на верхнем этаже — комнаты для служащих.

Деревянная калитка в изгороди вела в маленький дворик, засаженный яблонями; посредине его проходила небольшая, усыпанная песком аллея, тянувшаяся к самому дому. Едва девушки сделали несколько шагов по аллее, как на пороге дома появилась еще довольно молодая женщина и приветствовала Розали громким криком:

— Поторопись, лентяйка! За это время можно было успеть сходить в Пиккиньи... довольно ты пошталась!

— Это моя тетка Зенобия, — вполголоса проговорила Розали, — она не всегда бывает в

хорошем настроении.

— Что ты там шепчешься?

— Я говорю, что, если бы мне не помогли нести эту корзину, я бы и теперь еще не пришла.

— Молчала бы уж лучше, белоручка.

— Подождите меня во дворе, — сказала Розали Перрине, — я сейчас вернусь, и мы вместе пообедаем; пока подите купите себе хлеба; булочник живет в третьем доме налево. Торопитесь.

Когда Перрина вернулась, она нашла Розали за столом в тени яблони; на столе стояли две тарелки с картофельным рагу.

— Садитесь, — пригласила Розали, — мы поделимся с нами.

— Но...

— Не беспокойтесь; я спрашивала бабушку Франсуазу, и она позволила.

Раз так, то Перрина не заставила себя упрашивать и села к столу.

— Я уже переговорила с ней относительно вас; дело улажено, и вам остается только отдать двадцать восемь су бабушке Франсуазе. Вы будете жить вон там.

И она показала на здание с глиняными стенами, видневшееся из-за кирпичного дома. Постройка выглядела такой ветхой, что оставалось только удивляться, как это она до сих пор не рухнула.

— Там жила бабушка Франсуаза, пока не выстроила этот дом на деньги, заработанные, когда она была кормилицей господина Эдмонда. Там не так уютно, как в доме, но ведь рабочие и не могут жить так же, как господа, не правда ли?

Неподалеку от них, за другим столом, сидел человек лет около сорока, серьезный, важный, и внимательно читал маленькую книжечку в переплете.

— Это господин Бэндит читает «Отче наш», — прошептала Розали.

И, не стесняясь оторвать того господина от чтения, она обратилась к нему:

— Господин Бэндит, вот эта молодая девушка говорит по-английски.

— А! — протянул он, не поднимая глаз.

И только спустя несколько минут он, наконец, устремил взгляд в их сторону.

— Вы англичанка? — спросил он Перрину по-английски.

— Я — нет, но моя мать была англичанка, — на том же языке ответила девочка.

На этом беседа кончилась, и серьезный господин снова погрузился в чтение.

Девушки заканчивали свой обед, когда на дороге, за изгородью, послышался шум легкого экипажа.

— Кажется, это фаэтон господина Вульфрана, — вскричала Розали, поспешно вставая.

Экипаж подъехал к калитке и остановился.

— Это он, — объявила девушка и побежала к нему навстречу.

Перрина обернулась и, оставаясь на месте, стала рассматривать прибывших.

В небольшом щегольском экипаже на низких колесах сидело двое: молодой человек, правивший лошадей, и старик с седыми волосами и бледным лицом, с красными жилками на щеках; на голове его была соломенная шляпа. Даже когда он просто сидел на своем месте, заметно становилось, насколько он высок. Это был Вульфран Пендавуан. Розали подошла к фаэтону.

— Кто-то идет, — проговорил молодой человек, собиравшийся было выйти из экипажа.

— Кто это? — спросил Вульфран Пендавуан.

Ему ответила сама Розали:

— Это я, Розали.

— Скажи своей бабушке, чтобы она пришла поговорить со мной.

Розали побежала к дому и вскоре вернулась, ведя за собой торопившуюся бабушку.

— Добрый день, господин Вульфран.  
— Здравствуйте, Франсуаза.  
— Чем могу служить вам, господин Вульфран?  
— Дело идет о вашем брате Омере. Я только что был у него, но никого не застал дома.  
— Омер в Амьене и вернется только к вечеру.  
— Скажите ему, что я узнал о том, что он сдал свою бальную залу этим шалопаям... ну, а я не хочу, чтобы здесь происходили подобные сборища.  
— Во Флекселле бывали такие...  
— Флекселль — не Марокур. Я не хочу, чтобы мои рабочие превратились в таких же, какими стали флекселльские; мой долг — следить за ними. Вы не кочующие племена из Анжу или Артуа, а потому оставайтесь тем, что вы есть. Я так хочу, это моя воля. Передайте ее Омеру. Прощайте, Франсуаза.  
— Прощайте, господин Вульфран.  
Старик пошарил в кармане своей жилетки.  
— Где Розали?  
— Здесь, господин Вульфран.  
Он протянул ей руку, на ладони его блестела монета в десять су.  
— Это тебе.  
— О, благодарю вас, господин Вульфран.  
Экипаж покати́л дальше.  
Веселая и торжествующая Розали вернулась к Перрине.  
— Господин Вульфран дал мне десять су, — объявила она, показывая монету.  
— Видела.  
— Лишь бы тетя Зенобия не узнала, а то она возьмет их у меня на сбережение.  
— Я думала, что он вас не знает.  
— Как?! Он меня не знает! Он мой крестный отец!  
— Он спросил: «Где Розали?», когда вы были возле него.  
— Да это потому, что он не видит.  
— Не видит!  
— Разве вы не знаете, что он слепой?  
— Слепой!  
И Перрина тихо повторила последнее слово раза два или три.  
— А давно он ослеп? — спросила он наконец.  
— Его зрение давно уже стало слабеть, но никто не обращал на это внимания, — думали, что это от горя из-за отсутствия сына. Здоровье, раньше такое крепкое, ухудшилось; у него несколько раз было воспаление легких, и он теперь постоянно кашляет; и вот как-то утром оказалось, что он не может ни читать, ни ходить один. Подумайте только, какое было бы горе для всех нас, если бы ему пришлось продать или оставить фабрики! Но он ничего не оставил и продолжает работать по-прежнему.  
В эту минуту на пороге появилась Зенобия и закричала:  
— Розали, скоро ты придешь?  
— Я кончаю обедать.  
— А прислуживать кто будет?  
— Я должна вас оставить, — обратилась Розали к Перрине.  
— Не стесняйтесь из-за меня.  
— До вечера.  
И медленными шагами Розали неохотно направилась к дому.

### Глава XIII

Перрина бы охотно посидела еще на скамейке под деревом, если бы могла считать себя вправе здесь находиться; но Розали в разговоре упомянула, что этим двором могут пользоваться только служащие-пансионеры, а не рабочие, для которых немного подальше имелся особый маленький двор, где не было ни скамеек, ни стульев, ни стола. И Перрина поднялась со скамейки и неторопливой походкой вышла за ворота, чтобы побродить по улицам.

Хотя она старалась идти медленно, тем не менее очень скоро вся деревня осталась позади. Всю дорогу ее смущали любопытные взгляды прохожих, и она не могла приостановиться хотя бы на минуту, чтобы рассмотреть тот или другой дом. На вершине косогора, на противоположной от фабрик стороне, виднелся лес, зеленой стеной вырисовывавшийся на горизонте. Там, казалось девочке, она может найти долгожданное уединение и отдохнуть на свободе, не привлекая к себя ничего внимания.

Действительно, в лесу, как и в окружавших его полях, не было ни души. Не заходя далеко, Перрина остановилась на опушке и, растянувшись на зеленом мху, стала любоваться открывшимся перед ней видом на всю долину и деревню.

Прямо перед ней, по ту сторону деревни, на склоне, противоположном тому, где она сидела, возвышались строения фабрики, и по цвету их крыш Перрина могла проследить историю их развития, как будто ей это рассказывал кто-нибудь из местных старожилов.

В центре, на берегу реки, виднелось старое здание из кирпича и почерневшей черепицы, с высокой и тонкой трубой, полуразрушенной морским ветром, дождем и дымом; это была старинная льнопрядильня, долгое время пустовавшая, а тридцать пять лет тому назад арендованная мелким полотняным фабрикантом Вульфраном Пендавуаном. Местные обыватели с недоверием относились к его безумной затее и пророчили ему разорение. Но вместо разорения пришло богатство — сначала маленькое, а потом большое. Старая насадка не замедлила вывести цыплят. Первые добавочные здания были так же плохо построены и казались такими же непрочными, как и прядильня. Зато другие здания, особенно наиболее поздние, поражали солидностью постройки и роскошью отделки. Если первые дома уныло стояли на небольшом пространстве вокруг старой фабрики, то новые здания свободно раскинулись по окружающим лугам. Сообщение между ними поддерживалось при помощи вагонеток, скользивших по рельсам, и целой паутиной проволок, тянувшихся и пересекавшихся над фабричными зданиями.

Долго просидела так Перрина, рассматривая то громадные фабричные трубы, то острые шпили громоотводов, торчавших на крышах; потом взгляд ее переходил к железнодорожным вагонам, к складам угля, и она старалась представить себе, какова должна быть жизнь этого маленького, мертвого городка, когда все это приходит в движение, дымится, кружится, издавая тот могучий грохот и свист, какие она уже слышала в долине Сен-Дени, покидая Париж.

Потом она перевела взгляд на деревню. Перрина заметила, что и деревня эта испытала точно такие же перемены, как и фабрика; но, в противоположность фабричным зданиям, здесь старые дома были прочнее и красивее новых, как бы доказывая, что люди, обитавшие прежде в земледельческой деревушке Марокур, жили в большем достатке, чем рабочие с фабрики.

Среди всех этих старинных зданий один дом особенно выделялся как своими размерами, так и большим садом, в котором старые, высокие деревья тянулись до самой реки, где был построен плот. Перрина узнала этот дом: его занимал Вульфран Пендавуан в первые годы своей жизни в Марокуре, пока не переселился в замок. Сколько часов отец ее



еще ребенком провел на этом плоту, слушая болтовню прачек, рассказывавших ему разные старинные легенды. Перрина так хорошо помнила все эти слышанные от отца истории, как будто узнала их только накануне.

Солнечные лучи заставили Перрину передвинуться; но ей достаточно было сделать всего несколько шагов, чтобы найти другое место, не хуже прежнего, где трава была так же мягка и душиста и откуда открывался такой же прекрасный вид на деревню и на долину. До самого вечера она могла оставаться здесь в таком состоянии блаженства, какого давно уже не испытывала.

Перрина видела слишком много горя в жизни, чтобы поверить хоть на минуту, что страданиям пришел конец только потому, что ей удалось обеспечить себе работу, хлеб и ночлег. Она отлично сознавала, что ей предстоит еще долго бороться, чтобы осуществить мечты ее матери; впрочем, то что она была уже в Марокуре, значило очень много, если вспомнить, с каким трудом она попала сюда. Крыша над головой и еще десять су в день — разве это не было целым состоянием для несчастной девочки, которая могла назвать своим домом только придорожную канаву и которой приходилось питаться березовой корой?

Грустные мысли, навеянные воспоминанием о матери, вызвали слезы на глаза Перрины, и она начала плакать, шепча одни и те же слова, которые столько раз повторяли ее уста с памятного дня на кладбище, как будто фраза эта обладала какой-то чудодейственной силой:

— Мама, дорогая мама!

И на самом деле, разве это обращение к дорогому умершему существу не подбадривало ее, не укрепляло в борьбе; когда она, казалось, уже изнемогала от усталости и отчаяния? Разве могла бы она выдержать до конца, если бы не повторяла себе то и дело слова умирающей: «Я тебя вижу... да, я тебя вижу счастливой». Ей казалось, что налетавший легкими порывами ветер приносил на ее мокрые щеки ласковые прикосновения матери и шептал ей так нежно, так мягко ее последние слова: «Да, я тебя вижу счастливой...»

Да и почему бы нет? Почему мать ее не могла быть рядом в эту минуту, наклонясь над ней, как ангел-хранитель?

В эту минуту глаза ее машинально остановились на больших маргаритках, поднимавшихся из травы своими широкими, белыми венчиками, и ей захотелось погадать; быстро поднявшись на ноги, она подбежала к цветам и наугад сорвала несколько цветочков.

После этого она вернулась на свое место и, опустившись на траву, дрожащей рукой стала обрывать белоснежные лепестки на одном из цветков.

— Мне удастся, немного, вполне, не удастся вовсе; мне удастся, немного, вполне, не удастся вовсе...

И так, пока не осталось всего несколько лепестков...

Сколько? Она не хотела считать, потому что число их само дало бы ей ответ. И ее сердце сильно-сильно билось, когда она обрывала эти последние лепестки:

— Мне удастся... немножко... много... все!..

В тот же миг теплое дыхание ветерка скользнуло по волосам и губам Перрины, и ей показалось, что то был ответ ее матери; что то был поцелуй, самый нежный из когда-либо полученных от нее.

## Глава XIV

Легкие сумерки спускались на землю, и над всей долиной Соммы уже начинали клубиться белые пары тумана, когда Перрина решила, наконец, покинуть свое местечко. В окнах повсюду загорались огоньки; в воздухе становилось как-то особенно тихо; слышался неуловимый, таинственный шепот ночи, и только снизу доносились еще временами веселые звуки песен.

Мрак не пугал девочку, и она вовсе не боялась находиться так поздно в лесу или идти одной по большой дороге, так как слишком привыкла ко всему этому. Но завтра ей надо встать пораньше, чтобы идти на работу, и потому лучше не очень засиживаться сегодня и отправляться спать.

Когда она вошла в деревню, уже совсем стемнело. Подойдя к двору тетушки Франсуазы, девочка увидела мистера Бэндита, продолжавшего сидеть все за тем же столом и читавшего свою книжечку. Около него стояла свеча с абажуром из обрывка газетной бумаги; ночные бабочки весело кружились у огня. Почтенный джентльмен был весь погружен в чтение и, казалось, так и не вставал со своего места.

Но когда Перрина проходила мимо него, он поднял голову, чтобы посмотреть, кто это, и, узнав девочку, ради удовольствия поговорить на родном языке, обратился к ней:

— Желаю вам спокойной ночи.

— Добрый вечер, сэр, — ответила девочка.

— Где вы были? — продолжал он по-английски.

— Я гуляла в лесу, — отвечала Перрина на том же языке.

— Как! Одна?

— Одна, у меня нет знакомых в Марокуре.

— Почему, в таком случае, вы не остались дома почитать? По воскресеньям самое лучшее читать.

— У меня нет книг.

— Вы католичка?

— Да, сэр.

— Во всяком случае, я могу ссудить вас кое-какими книгами. Прощайте.

— Покойной ночи, сэр.

На пороге дома, прислонившись к двери, сидела Розали, отдыхая и наслаждаясь вечерней прохладой.

— Вы хотите идти спать? — спросила она Перрину.

— Да, я бы очень этого хотела.

— Я вас провожу, но сперва вам не мешало бы переговорить с бабушкой Франсуазой. Пойдемте в лавку.

Договоренность, уже улаженная между бабушкой и внучкой, быстро завершилась уплатой за неделю вперед двадцати восьми су, которые Перрина выложила на конторку; кроме пой суммы, с нее взяли еще два су за освещение.

— Итак, вы хотите поселиться в нашей стороне, моя милая? — добродушно проговорила тетушка Франсуаза.

— Если мне это удастся.

— Это удастся, если вы хотите работать.

— Я только за этим и пришла.

— Ну, так дело пойдет! Вы не всегда будете сидеть на пятидесяти сантимах, а со временем достигнете франка и даже двух; а если потом вы выйдете замуж за хорошего рабочего, получающего три франка, это составит сто су в день; с этим им будете богаты. Господин Вульфран делает большое благодеяние, предоставляя работу всему нашему краю; правда, у нас есть и земля, но одна земля не может прокормить всех.

Пока старая кормилица разглагольствовала с важностью Женщины, привыкшей к тому, чтобы к ее словам относились с уважением, Розали доставала из шкапа узелок белья. Слушая наставления бабушки, Перрина в то же время следила глазами за внучкой и заметила, что предназначавшиеся для нее простыни были из толстой небеленой парусины; но она уже так давно не спала на простынях, что могла считать себя счастливой, имея и такие, как бы грубы они ни были. Ей можно будет раздеваться! Старухе Ла-Рукери, никогда не

разрешавшей себе расхода на постель во время своих путешествий, никогда и в голову не приходило предложить ей подобную роскошь; кроме того, еще задолго до их приезда во Францию все постельное белье из их походной тележки, кроме самого необходимого для ее матери, было продано или изорвано на тряпки.

Перрина взяла половину постельных принадлежностей и, следуя за Розали, прошла через двор, где человек двадцать рабочих, мужчин, женщин и детей, сидя на деревянных чурбанах и на камнях, оживленно болтали в ожидании обычного часа отхода ко сну. Как мог весь этот люд помещаться в старом доме, который был так невелик?

Вид чердака, когда Розали зажгла маленькую свечку и вставила ее в проволочный подсвечник, сам послужил ответом на этот вопрос. На пространстве шести метров в длину и не более трех метров в ширину вдоль перегородок стояло шесть кроватей, между которыми шел узенький проход от силы в метр шириной. Таким образом, шестерым приходилось ночевать там, где едва было бы достаточно места для двух; вот почему, несмотря на то, что маленькое оконце в стене, противоположной входу, было открыто и в комнату проникал свежий воздух, с самого порога потянул им навстречу горячий и удушливый запах, сдавивший Перрине горло. Но она не позволила себе сделать никакого замечания, даже когда Розали сказала ей, улыбаясь:

— Здесь немного тесновато, не правда ли?

Перрина ограничилась ответом:

— Да, немножко.

— Четыре су — ведь это не сто су.

— Разумеется.

Впрочем, даже эта миниатюрная комнатка все-таки была лучше ночлега в лесу или в поле; если она выносила запах барака Грен-де-Селя, то, без сомнения, перенесет и здешний...

— Вот ваша постель, — сказала Розали, указывая ей на кровать, стоявшую перед окном.

Постель являла собой набитый травой мешок, положенный на козлы и на две доски; подушкой тоже служил мешок.

— Папоротник свежий, будьте покойны, — продолжала Розали, — вновь прибывшего мы никогда не кладем на старый папоротник; мы этого не делаем, хотя и говорят, что в настоящих гостиницах не очень-то церемонятся в этом отношении.

Если в этой маленькой комнате было слишком много постелей, то стул в ней виднелся всего только один.

— В стенах есть гвозди, — продолжала Розали, отвечая на немой вопрос Перрины, — на которых вы можете вешать одежду.

Под кроватями Перрина заметила несколько ящиков и корзин, в которых жильцы прятали свое белье, но так как у нее его не было, то гвоздя, вбитого в ногах ее постели, было ей вполне достаточно.

— Вы будете здесь с хорошими людьми; правда, они немного болтливы, особенно по воскресеньям, но не обращайтесь на это внимания. Завтра встаньте вместе с другими, и я расскажу вам, что надо будет сделать, чтобы поступить на фабрику. Прощайте.

— Прощайте и спасибо.

— Всегда рада услужить вам.

Оставшись одна, Перрина поспешила раздеться, пользуясь тем, что в комнате никого не было. Но когда она улеглась на простыне и простыней же закрылась вместо одеяла, она вовсе не ощутила удовольствия, — даже если бы в ткани были стружки, то и тогда простыни не могли быть более жесткими; но для нее это не имело особенного значения: ведь голая земля тоже была жестка, когда она в первый раз ложилась на нее, а потом ведь она привыкла

да еще как скоро...

Дверь отворилась, и в комнату вошла молоденькая девушка лет пятнадцати, которая тотчас же начала раздеваться, изредка бросая на Перрину молчаливые взгляды. Так как она была одета по-праздничному, то туалет ее продолжался довольно долго: ведь ей нужно было убрать в маленький ящик свой нарядный костюм и повесить на гвоздь рабочее платье на завтрашний день.

За первой пришла другая, потом третья, потом четвертая; в комнате поднялась оглушительная болтовня; все говорили разом, рассказывая друг другу, как каждая провела день; они вытаскивали и снова задвигали свои ящики или корзины, которые задевали друг за друга, что вызывало нетерпеливые движения или нелестные слова по адресу хозяйки чердака.

— Какая трущоба!

— Она скоро еще посередине кроватей наставит.

— Наверное... Я здесь ни за что не останусь.

— Куда же ты пойдешь? Разве у других лучше?

Скоро все постели были заняты, и суматоха несколько поубавилась. Разговоры, тем не менее, не прекратились, только несколько изменилось их содержание: передав друг другу все, что произошло интересного в течение дня, девушки перешли к дню завтрашнему, толковали о работе в мастерских, о штрафах, обсуждали, кто с кем и почему поссорился, судачили о своем фабричном начальстве, причем не забыли никого, начиная с самого господина Вульфрана и его племянников, которых называли «молодыми». Особенно досталось директору Талуэлю, которого хотя и помянули всего один раз, но зато наградили самыми обидными прозвищами: «Кошей Бессмертный», «Иуда».

Со странным смешанным чувством любопытства и брезгливости слушала Перрина болтовню своих новых подруг; с одной стороны, ей хотелось слышать все эти пересуды, чтобы знать, с кем ей придется иметь дело, а с другой — ей просто стыдно было слушать этих сплетниц, так бесцеремонно позоривших, может быть, даже хороших людей.

А работницы все продолжали свою беседу, причем разговоры принимали уже чисто личный характер, и постороннему трудно было угадать, о ком и о чем именно шла тут речь. Перрина, думавшая, что здесь после всего перенесенного ею она, наконец, заснет крепким, покойным сном, с грустью видела, что мечтам ее не суждено сбыться; все страхи одиночества в лесу или в пустынном поле меркли перед гвалтом этой благоустроенной квартиры. Кроме того, бедная девочка, всю свою жизнь дышавшая чистым воздухом на природе, просто задыхалась в этой душной каморке.

Положим, почему бы ей не освоиться, не привыкнуть ко всему, что так легко переносят эти здоровые крестьянки, будущие ее товарки по фабрике? Она ведь не бог знает как роскошно провела свое детство и, пожалуй, прошла более суровую жизненную школу, чем самая бедная из них, — значит, ей надо суметь жить так же, как живут и они.

Ей казалось, что надо только хорошенько закутаться и постараться не дышать некоторое время, чтобы таким образом и заснуть, а сонные — Перрина это хорошо знала — равнодушны ко всему на свете.

К несчастью, не дышать было нельзя: она задыхалась...

Пока она ворочалась, рука ее нечаянно задела обрывок бумаги, заменявший одно из стекол в окне, около которого стояла ее постель. Девочка чуть не вскрикнула от радости. Почему бы ей не продрать бумагу, чтобы дать доступ свежему воздуху снаружи? Что могло быть в этом дурного? Хотя остальные девушки уже привыкли к этой испорченной атмосфере, но, по всей вероятности, и они чувствовали недостаток воздуха. Нужно только не шуметь и, главное, никого не разбудить, а бумагу продрать, конечно, можно.

Но ей не пришлось прибегать к такой мере, которая оставила бы следы; ощупывая рукой края бумаги, Перрина обнаружила, что бумага прилегала очень неплотно, и ногтем осторожно отогнула один край. Тогда, приблизив рот к этому отверстию, она, наконец, получила возможность дышать, и так в этой позе и заснула.

## Глава XV

Когда Перрина проснулась, в окно уже пробивался свет, но такой бледный, что не освещал даже комнаты; слышалось пение петухов; через отверстие, сделанное ею накануне, проникал холодный воздух; близился рассвет.

Несмотря на приток свежего воздуха снаружи, дурной запах в комнате не развеялся; было все так же душно и так и не становилось легче дышать.

А между тем все спали мертвым сном, по временам прерываемым сдавленными стонами.

Стараясь немного увеличить отверстие в бумаге, Перрина нечаянно ударила по стеклу, да так сильно, что оно зазвенело. Шум не только никого не разбудил, как того боялась Перрина: никто даже не пошевелинулся.

Это немного ободрило девочку. Она тихонько сняла с гвоздя свою одежду, медленно и без малейшего шума оделась и босиком, держа в руках башмаки, направилась к двери, которую скоро отыскала при свете занимающейся зари. Дверь была просто заложена на щеколду и потому бесшумно отворилась, и Перрина очутилась на площадке лестницы. На первой ступеньке она села и, обувшись, сошла вниз.

Ах, какой чудный воздух, какая приятная свежесть охватили ее! Никогда еще не дышала она с таким наслаждением. Через открытую калитку она вышла на улицу и побрела прямо, куда глаза глядят, не думая о том, куда она выйдет. Ей просто нужно было воздуха и простора, и она все шла и шла. Заря уже золотила верхушки высоких деревьев и крыши домов; еще несколько минут — и взойдет солнце, настанет день. В это мгновение среди глубокой тишины раздался звон колокола: это фабричные часы, отбив три удара, сказали Перрине, что у нее осталось еще три часа до открытия мастерских.

Как проведет она эти часы? Ходить все это время значило бы утомиться еще до начала работы; самым лучшим было бы выбрать подходящее местечко и, усевшись там, ждать назначенного часа.

С каждой минутой небо становилось светлее и окружающие предметы принимали все более ясные очертания, что давало Перрине возможность определить, где она теперь находится.

Оказалось, что, бродя в потемках, она незаметно подошла к одному из тех маленьких озер, образовавшихся на местах выемки торфа, которых так много в этой стране; все они бесконечной линией тянулись одно за другим, разделенные только узкими полосками земли. Весной, во время разлива, воде удалось кое-где размыть эти слабые, ненадежные преграды, и соединившиеся в одно озера образовали нечто, похожее на небольшую речку с извилистыми берегами.

На минуту Перрина остановилась, чтобы полюбоваться на залитую водой равнину, своим видом напомнившую ей окрестности Пиккиньи; здесь тропинка, по которой она шла, изгибалась и шла вверх по склону небольшого холма, и Перрина рассчитывала, что немного дальше она найдет местечко, где удобно будет расположиться на отдых.

Но вдруг девочка увидела на берегу озера, около которого она только что стояла, один из тех шалашей из ветвей и камыша, которые в этом краю устраиваются специально для охоты на перелетных птиц зимой. Шалаш настолько понравился Перрине на вид, что ей пришла в голову мысль добраться до него и там отдохнуть; там никто не станет донимать ее расспросами, чего ради она бродит здесь так рано, и, кроме того, ей не придется сидеть под каплями росы, дождем падавшими с деревьев.

Перрина вернулась немного назад и после недолгих поисков напала на небольшую, едва заметную тропинку, которая, как ей показалось, сквозь густой ивняк вела прямо к

шалашу. Она не ошиблась: тропинка шла к шалашу, но до него не доходила, потому что шалаш был построен на маленьком островке, тоже поросшем ивами. Чтобы добраться до него, нужно было перейти канавку, полную воды; к счастью, с берега на островок кто-то перебросил дерево, заменявшее мостик. Недолго думая, Перрина смело двинулась вперед по скользкому от росы бревну и минуту спустя уже стояла перед небольшой дверцей из камыша, переплетенного ивовыми прутьями. Хозяева шалаша не находили нужным запирать его на замок, и проникнуть в него не представляло ни малейшего труда.

Шалаш имел форму правильного четырехугольника и со всех сторон закрыт был щитами из камыша и высокой травы; на каждой стороне имелись маленькие отверстия, заменявшие окна и незаметные снаружи; густой слой папоротника устилал пол; обрубок пня в одном из углов служил стулом.

Ах, какое хорошенькое гнездышко! Как мало походило оно на только что покинутую ею комнату. Как хорошо и уютно было бы спать здесь, на свежем воздухе, лежа на папоротнике, вместо того чтобы задыхаться в душной камерке на чердаке у тетюшки Франсуазы и слушать, как болтают ее жилицы.

Перрина прилегла на папоротник, прислонившись головой к мягкой камышовой перегородке, и закрыла глаза. В ту же минуту она почувствовала сильное желание вздремнуть часок-другой, но боязнь проспать и опоздать на фабрику заставила ее отказаться от этого намерения; она даже поднялась со своего ложа и встала на ноги.

Солнце тем временем уже взошло, и золотистые лучи его, проникая сквозь отверстие в перегородке, освещали шалаш; певчие птицы веселым хором приветствовали появление дневного светила, а чирки покинули свои таинственные убежища в чаще камышей и с громкими криками сновали по воде.

Приложив глаз к одному из отверстий, Перрина стала смотреть, как беззаботно наслаждались радостями жизни пробудившиеся от сна пернатые и насекомые; среди камышей порхали стрекозы; у берега птицы раскапывали клювами сырую землю, разыскивая червячков, а дальше, по пруду, покрытому легким туманом, самка-чирок, пепельно-коричневого цвета, размерами немного меньше домашних уток, плавала вокруг своих птенцов, громкими криками стараясь удержать их возле себя; но молодняк и не думал повиноваться своей осторожной матери и всю гонялся за насекомыми, скользя между цветками водяных кувшинчиков. Вдруг что-то молнией промелькнуло перед глазами Перрины, и только по блестящему цвету крыльев она угадала, что это пролетела чайка в поисках добычи.

Долго стояла девочка, прикинув к отверстию, боясь малейшим неосторожным движением выдать свое присутствие и тем самым разогнать чутких дикарей. Как все это было красиво, весело, оживленно, ново для нее, словно в волшебной сказке! Ей даже приходило в голову, что весь островок с шалашом походил на небольшой Ноев ковчег.

Но вот над прудом нависла какая-то черная тень, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Перрине это показалось очень странным, потому что солнце успело уже довольно высоко подняться над горизонтом и ярко сияло в безоблачном небе. Откуда могла взяться эта тень? Маленькие отверстия шалаша не давали возможности рассмотреть ее хорошо, и пришлось отворить дверь. Оказалось, что тень падала от клубов дыма, вырывающихся из высоких труб фабрики, где уже разводили огонь для того, чтобы приготовить пар к моменту открытия мастерских.

Итак, значит, скоро начнется рабочий день, и ей надо покинуть шалаш. Но прежде чем выйти, Перрина подняла лежавшую на пне газету, которую она вначале не заметила в темноте и увидела только теперь, когда отворила дверь. Это был номер «Амьенской Газеты» от 25 февраля. Так как листок лежал на единственном месте, где можно было присесть, то, сопоставляя это с днем, каким была помечена газета, Перрина заключила, что последний

посетитель шалаша был в нем 25 февраля и с тех пор в него никто больше не заходил.

## Глава XVI

Не успела Перрина выйти из ивняка на большую дорогу, как уже загудел фабричный свисток. Резкие, могучие звуки точно пробудили от сна раскинутые по долине фабричные здания: сильнее повалили из труб клубы черного дыма, и со всех концов понеслись те же нестройные, дикие звуки паровых свистков, спешивших принять участие в этом своеобразном концерте.

Это был сигнал собираться на работу. По заведенному в Марокуре правилу, свисток, данный в главном корпусе, подхватывали все остальные отделения фабрики, передавая его дальше по деревням, и таким образом на всех Пендавуанских фабриках работа начиналась в один и тот же час.

Боясь опоздать, Перрина прибавила шагу, и когда она вошла в деревню, все население уже проснулось; двери были распахнуты настежь, и фабричные, стоя на пороге, торопливо поглощали свой завтрак. Но на фабрику никто еще не шел, так как слышанный Перриной сигнал был только повесткой, — значит, и ей нечего было особенно торопиться.

Скоро часы пробили три четверти, и в ту же минуту опять загудел свисток, но на тот раз резче и громче, точно приказывая поторопиться. И весь этот люд вдруг засуетился: из домов, из дворов, из харчевен — отовсюду высыпал народ, заполняя улицу. Тут были мужчины, женщины и дети, и все это шумело, кричало, смеялось. Из боковых улиц к этой толпе присоединялись новые группы и, сливаясь в одно целое, все они живой волной катились вдоль главной улицы по направлению к фабрике.

В одной из групп Перрина заметила Розали и сейчас же присоединилась к ней.

— Где это вы были? — удивленно спросила Розали.

— Я рано встала и пошла гулять.

— А я-то вас искала!

— Благодарю вас, только не надо искать меня, я — ранняя птица.

Подойдя к фабрике, вся толпа слегка приостановилась на минуту, а потом через растворенную настежь калитку устремилась на внутренний двор, рассыпаясь по различным мастерским. У входа, засунув руки в карманы куртки и сдвинув на затылок соломенную шляпу, стоял человек высокого роста, худой, как скелет; слегка вытянув вперед шею, он внимательным взором окидывал каждого входящего рабочего.

— Долговязый! — прошептала Розали.

Но и без объяснений подруги Перрина с первого же взгляда догадалась, что это был сам директор Талуэль.

— Что же, и мне входить вместе с вами? — спросила она.

— Конечно.

Для Перрины это была решительная минута, но она поборола свое волнение: почему бы могли не принять ее, раз здесь берут всех желающих?

Поравнявшись с Талуэлем, Розали велела Перрине не отставать и, выбравшись из толпы, храбро подошла к директору.

— Господин директор, — проговорила она, — вот моя приятельница, которая тоже хочет поступить на фабрику.

Талуэль бросил быстрый взгляд на Перрину.

— А вот сейчас видно будет, — отвечал он.

И Розали, зная, что именно надо делать, отошла со своей подругой в сторонку.

В эту минуту у решетки послышался шум, и толпа поспешно расступилась, освобождая дорогу для фэтона господина Вульфрана. Экипажем правил все тот же молодой человек.

Хотя всем было известно, что хозяин не видит, тем не менее все мужчины сняли шапки, а женщины вежливо поклонились, когда он проехал мимо них.

— Видите, он приезжает не последним, — заметила Розали.

Директор быстрыми шагами подошел к фээтону и, держа шляпу в руках, проговорил:

— Рад приветствовать вас, господин Вульфран.

— Здравствуйте, Талуэль.

Перрина проводила взглядом экипаж, продолжавший свой путь, а когда снова посмотрела на решетку, то увидела, как проходили уже известные ей служащие: инженер Фабри, Бэндит, Монблэ и другие, которых ей назвала Розали.

С каждой минутой толпа все более редела, так что подходившие последними теперь уже бежали, боясь опоздать.

— Мне кажется, что молодые-то явятся с опозданием, — тихо проговорила Розали.

Начали бить часы; толпа налегла в последний раз, и улица опустела. Талуэль, однако, не покинул своего поста и, держа руки в карманах, продолжал смотреть вдаль, гордо подняв голову.

Прошло несколько минут, и у решетки появился высокий молодой человек, которого ни по костюму, ни по манерам нельзя было принять за простого рабочего. Это был настоящий барин, резко отличавшийся своим обликом даже от инженеров и прочих служащих. Шел он очень быстро, на ходу завязывая галстук, чего, очевидно, не успел сделать дома.

Когда он поравнялся с директором, последний снял шляпу, как сделал и при появлении господина Вульфрана, но Перрина заметила, что оба поклона значительно отличались один от другого.

— Рад приветствовать вас, господин Теодор, — поздоровался Талуэль.

— Здравствуйте, Талуэль. Дядя уже приехал?

— О, да, конечно, господин Теодор! Уже пять минут назад.

— А!

— Вы еще не последний сегодня; господин Казимир тоже опоздал, хотя и не был в Париже, как вы. Да вот и он.

Пока Теодор пересекал двор, направляясь к конторе, Казимир быстро приближался к решетке.

Он не походил на своего кузена ни сложением, ни манерами; невысокий, худощавый, с гордо поднятой вверх головой, на молчаливый поклон директора он ответил только легким кивком, не проронив при этом ни слова.

Проводив Казимира, Талуэль опять заложил руки в карманы и только теперь обратился к Розали:

— Что умеет делать твоя приятельница?

Перрина сама ответила на этот вопрос.

— Я еще не работала на фабриках, — сказала она робким голосом, хотя и старалась казаться совершенно спокойной.

Талуэль бросил на нее беглый взгляд и, обратившись к Розали, проговорил:

— Скажи от меня Костылю, чтобы он поставил ее к вагонеткам, да смотри, живеи поворачивайся!

— Что это за вагонетки? — спрашивала Перрина, идя за Розали по обширным дворам, отделявшим одни мастерские от других. Будет ли она в состоянии выполнить эту работу, хватит ли у нее силы, умения? Может быть, еще придется учиться? Все это были страшные вопросы для нее, и они тем более пугали ее, что теперь, когда она была уже допущена на фабрику, она чувствовала, что от нее одной будет зависеть удержаться здесь.

Розали поняла ее волнение и ответила:



— Не пугайтесь, ничего нет легче этого.

Перрина скорее угадала смысл этих слов, чем их услышала: все машины и станки в это время были уже в полном ходу, и на фабрике стоял такой грохот и шум, смешанный с ревом сигнальных свистков, что заглушал голоса людей.

— Не можете ли вы говорить громче? — сказала Перрина. — Я вас не слышу.

— Привыкнете! — крикнула Розали. — Я ведь говорила нам, что это не трудно: нужно только нагрузить *cannettes* на вагонетки. Знаете вы, что такое вагонетки?

— Мне кажется, что это маленький вагон.

— Именно. Когда вагонетка наполнится, то надо толкать ее до ткацкой, где происходит разгрузка; только подтолкните хорошенько, когда будете трогаться с места, а там уже вагонетка покатится сама собою.

— А что же такое эти *cannettes*?

— Вы не знаете, что такое *cannettes*? Но ведь я же вам вчера еще сказала, что *cannetiers* — машины, на которых делают нитки для челноков; теперь, я думаю, вы понимаете, что это такое?

— Не очень-то.

Розали с недоверием посмотрела на Перрину, думая, что та смеется над ней, но лицо девочки было серьезно. Тогда она продолжала:

— Ну, так это веретена, вделанные в стаканчики; на веретена наматывается нитка, и когда они полны, их вынимают из стаканчиков, нагружают на вагонетки, бегающие по маленьким рельсам, и отправляют в ткацкие мастерские; это порядочная прогулка. Я с этого начала, теперь работаю у станков.

Так они прошли несколько дворов. Перрина с таким вниманием слушала объяснения своей подруги, что, вопреки своему обыкновению, даже не замечала мест, по которым они проходили. Наконец, Розали указала ей рукой на ряд новых одноэтажных построек, без окон, но с наполовину застекленными крышами.

— Вот здесь, — проговорила она.

Она отворила дверь и ввела Перрину в длинную залу, где с грохотом вращались в своих станках тысячи веретен.

Но, несмотря на оглушительный шум, до них явственно донесся голос мужчины, встретившего их прибытие громким криком:

— Наконец-то и ты пришла, гулена!

— Кто гулена? Кто это гулена? — воскликнула Розали. — Не я, слышите, дядя Костыль, не я.

— Откуда ты?

— Мне Долговязый велел привести к вам эту девочку, чтобы вы поставили ее к вагонеткам.

Встретивший их таким образом человек был старый мастеровой на костыле, искалеченный на фабрике лет десять тому назад. Благодаря его увечью, его назначили надсмотрщиком над *cannetiers*; он страшно помыкал детьми, находившимися под его ведением, обращался с ними грубо и постоянно ругался. Работа на этих машинах довольно тяжела и требует не только зорких глаз, но и проворных, ловких рук, чтобы вовремя вынимать полные веретена, заменять их другими, пустыми, и связывать оборвавшиеся нитки. Дядя Костыль был убежден, что если бы он не ругался ежеминутно, сопровождая каждое проклятие ударом своего костыля об пол, то работа не шла бы так успешно. Но в душе это был человек очень добрый, и работницы его совсем не боялись, да к тому же за грохотом машин и голос-то его не всегда был слышен.

— А веретена у тебя до сих пор еще стоят! — крикнул он Розали, стуча костылем.

— Разве это моя вина?

— Живей принимайся за работу.

После этого он обратился к Перрине.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Девочка вовсе не стремилась открывать свое настоящее имя, и вопрос надзирателя застал ее врасплох, хотя она должна была бы это предвидеть, так как еще накануне Розали спрашивала ее о том же.

Дяде Костылю показалось, что девочка не расслышала, и, нагнувшись к ней, он повторил свой вопрос более громко; но Перрина успела уже оправиться и вспомнить имя, которое она назвала Розали.

— Орели.

— Орели... А дальше?

— Вот и все.

— Хорошо, пойдем.

Он повел ее к вагонетке, стоявшей в углу, и повторил то что говорила и Розали, останавливаясь на каждом слове, чтобы крикнуть: «Ты понимаешь?», на что девочка отвечала утвердительным кивком головы.

И в самом деле, работа была так проста, что трудно было не суметь ее выполнить; а так как Перрина прилагала все свои усилия, то Костыль до самого обеда успел крикнуть на нее не больше двенадцати раз, да и то просто для порядка.

— Не баловаться дорогой.

Перрина и не думала баловаться, но, двигаясь ровным шагом за вагонеткой, она с любопытством осматривала те отделения фабрики, по которым проходила. Хороший удар Плечом, когда нужно было тронуть вагонетку с места, затем с силой потянуть ее к себе, когда вагонетку нужно остановить, — вот и все; глаза и голова не участвовали в этой работе, Перрина могла делать ими что хотела.

Когда наступило время отдыха, Перрина вошла в булочную и попросила отрезать себе кусок хлеба, который съела, бродя по улицам и вдыхая вкусный запах супа, вырывавшийся из открытых настежь дверей. Полфунта хлеба маловато было для нее после физического напряжения на фабрике, но Перрина давно уже научилась довольствоваться небольшим количеством пищи. Только люди, привыкшие есть слишком много, воображают, что нельзя ограничиваться лишь утолением голода...

## Глава XVII

Еще задолго до возобновления работ в мастерских Перрина была уже у решетки и, сидя на тумбе в ожидании призывного свистка, не без зависти смотрела, как мальчики и девочки ее лет, явившиеся подобно ей раньше времени, играли в догонялки; она и сама была бы не прочь принять участие в их забавах, но боязнь быть непринятой удерживала ее на месте.

Когда пришла Розали, Перрина отправилась в мастерскую вместе с ней и снова принялась за свою работу, как и утром, под аккомпанемент криков и топанья деревянной ноги дяди Костыля. Но теперь гнев надзирателя уже нельзя было назвать безосновательным. Плохо выспавшаяся и порядочно уставшая на непривычной работе девочка заметно утомилась и вяло возила свою вагонетку. Нагрузить, выгрузить, бежать за вагонеткой, которую всегда с большим усилием приходилось сдвигать с места, — все это сначала вовсе не казалось Перрине тяжелым и даже забавляло ее, но когда и после скудного обеда ей пришлось приняться за то же самое, бедная девочка, отдавая все свои слабые силы еще за утро, с каждой минутой начинала чувствовать еще большее утомление, чем во время своих бесконечных странствований пешком. А часы, как нарочно, тянулись мучительно медленно, и казалось, что работе конца не будет.

— Живее поворачивайся! — кричал дядя Костыль, стуча ногой об пол.

Перрина нервно вздрагивала, выпрямлялась и прибавляла шагу; но едва она отходила на такое расстояние, что надзиратель уже не мог ее видеть, как сейчас же начинала идти медленнее. Теперь, вся поглощенная работой, она уже не смотрела, что делается кругом, и лишь нервно прислушивалась к бою часов, с нетерпением ожидая конца работ и приходя в отчаяние при мысли, что не дотянет до вечера.

Она больше всего боялась лишиться заработка и вместе с тем злилась на себя за слабость. Почему не может она делать того же, что делают другие девочки? Многие из них не старше ее и, пожалуй, не сильнее, а между тем они отлично справляются со своим делом и вовсе не кажутся такими утомленными. А ведь Перрина видела, что их работа была гораздо тяжелее ее и требовала известной ловкости и умения. Что стала бы она делать, если бы ее сразу приставили к станку и ей пришлось бы наматывать катушки? И она сейчас же начинала утешать себя: все они так хорошо и ловко работают без усталости просто потому, что привыкли; пройдет несколько дней, и она будет так же ловко гонять свою вагонетку по рельсам, как и все; было бы только желание, а все остальное придет само собой. Только бы выдержать самый первый день, а там будет все легче и легче.

Медленно тянулось время; погруженная в свои мысли, Перрина успела уже не один десяток раз нагрузить свою вагонетку катушками и сдать их в другие отделения, как вдруг, случайно оглянувшись, увидела, что Розали, связывавшая нитку, упала возле своей соседки. Раздался страшный крик... В мастерской сразу наступила мертвая тишина; все машины, все станки вдруг остановились... И только чей-то голос совсем по-детски, жалобно причитал:

— Ой!.. Ой!.. Ой!..

Мальчики и девочки, не обращая внимания на дядю Костыля, бросились к тому месту, откуда слышались крики; следом за ними направилась и Перрина.

Розали в это время уже подняли; все тесным кругом обступили ее, засыпая вопросами:

— Что случилось?

Розали отвечала сама:

— Руку раздавило.

Лицо ее было бледно, губы дрожали, капли алой крови падали из ее поврежденной руки на пол.

Руку тут же осмотрели, и оказалось, что поранены были только два пальца, один из которых был почти раздавлен.

В эту минуту к группе девушек, окружавших Розали, приковылял дядя Костыль, крича:

— Марш по местам! Нашли на что глядеть!

Все начали медленно расходиться; Перрина так же, как и другие, собиралась вернуться к своей вагонетке, как вдруг услышала позади себя окрик дяди Костыля:

— Эй, новенькая, поди сюда да живо!

Девочка робко приблизилась, мысленно спрашивая себя, чем она виновнее других, бросивших свою работу; но оказан лось, что ее звали вовсе не для того, чтобы хорошенько отругать.

— Отведи эту лентяйку к директору, — суровым тоном приказал дядя Костыль.

— За что вы меня называете лентяйкой? — ахнула Розали, стараясь перекрыть грохот машин, снова начавши свою работу.

— Потому что ты попала под машину.

— Разве я в этом виновата?

— А то кто же? Косолапая ты лентяйка!

И затем, резко меняя тон на более ласковый, спросил:

— Тебе больно?

— Не очень.

— Ну, так отправляйся!

Подруги вышли из мастерской, Розали правой рукой поддерживала раненую левую руку.

— Не хотите ли опереться на меня? — предложила Перрина.  
— Спасибо! Пока ничего... Я могу идти и сама...  
— Так вы думаете, что это пройдет, да?  
— Неизвестно, в первый день особенно ничего не чувствуешь... но зато потом...  
— Как это с вами случилось?  
— Сама не понимаю, сорвалась рука.  
— Может быть, потому, что вы устали? — проговорила Перрина, судя по себе.  
— Вероятно, это чаще всего бывает от усталости, с утра и руки работают ловчее, и сама больше следишь за собой.

Они подошли к бюро директора, находившемуся в центре фабрики, в большом каменном здании с облицовкою из голубого и розового глазированного кирпича; в этом же доме помещались и все остальные бюро по управлению фабриками. В то время, как все бюро и даже личная контора господина Вульфрана не представляли собой ничего из ряда вон выходящего, бюро директора обращало на себя внимание, благо даря стеклянной веранде, куда вели лестницы, возведенные с обеих сторон.

Когда девочки взойшли на веранду, там оказался сам директор, заложив руки в карманы и сдвинув на затылок шляпу, он быстро шагал назад и вперед, видимо, чем-то взволнованный.

— Ну, что еще такое? — крикнул он, заметив девочек.

Розали показала свою окровавленную руку.

— Оберни ее платком! — велел он.

Пока она с трудом вытаскивала платок, Талуэль большими шагами ходил по веранде, потом, когда рука была обернута, он остановился перед Розали.

— Ну, говори теперь, что с тобой?

— Не знаю, пальцы раздавлены.

— Что же я могу сделать?

— Меня послал к вам дядя Костыль.

Талуэль обернулся к Перрине.

— Ну, а с тобой что? Чего ты здесь?

— Со мной ничего, — отвечала Перрина, смущенная такой грубостью.

— Дядя Костыль велел ей проводить меня к вам, — dokonчила Розали.

— А, тебя надо провожать! Ну, так пускай она же отведет тебя к доктору Рюшону. Но помни: я это проверю, и, если ты окажешься виноватой, берегись!

В ту минуту, когда девушки собирались уходить, они увидели господина Вульфрана, осторожно двигавшегося вперед, ощупывая рукой стену.

— Что случилось, Талуэль? — спросил он.

— Ничего, господин Вульфран. Одной из работниц в мотальной слегка прихватило руку.

— Где же она?

— Я здесь, господин Вульфран, — ответила Розали, подходя к слепому хозяину.

— Разве это голос не внучки Франсуазы? — спросил Вульфран.

— Да, господин Вульфран, это я — Розали.

И она залилась слезами. Грубые окрики Талуэля до сих пор сдерживали ее, но сочувствие, с каким заговорил с ней господин Вульфран, заставило ее расплакаться.

— Что с тобой, моя бедная девочка?

— Я хотела связать нитку... рука соскользнула и... сама не знаю как... мою руку прихватило... кажется, два пальца раздавлены.

— Тебе очень больно?

— Не особенно.

— Что же ты так плачешь?

— Потому что вы меня не браните.

Талуэль пожал плечами.

— Ты можешь идти? — спросил господин Вульфран.

— О, да, сударь!

— Иди скорей домой, к тебе пришлют господина Рюшона.

Затем, обращаясь к Талуэлю, он проговорил:

— Напишите записку господину Рюшону, чтобы он сейчас же отправился к Франсуазе; подчеркните «сейчас же» и добавьте: «серьезная рана». — И он снова обернулся к Розали. — Дать тебе кого-нибудь, чтобы тебя довести?

— Благодарю вас, господин Вульфран, со мной идет подруга.

— Ну, так иди, дитя мое! Да скажи твоей бабушке, что тебе будет заплачено.

Теперь уже Перрине захотелось плакать, но суровый взгляд Талуэля заставил ее сдержаться; она заговорила лишь тогда, когда они приближались к выходу.

— Какой добрый господин Вульфран!

— Он был бы еще добрее, если бы не долговязый. У него нет времени заниматься нами, у него другие дела в голове.

— Но к вам он все-таки был добр.

Розали выпрямилась.

— О, я! При мне он вспоминает о сыне: ведь моя мать была молочной сестрой господина Эдмонда.

— Разве он вспоминает о своем сыне?

— Он только о нем и думает.

За этим разговором они скоро подошли к дому тетушки Франсуазы.

— Вы зайдете к нам со мной? — спросила Розали.

— Охотно.

— Может быть, это хоть немного удержит тетю Зенобию.

Но бедная девочка ошиблась; едва тетя Зенобия увидела Розали, возвращавшуюся домой раньше времени и к тому же с перевязанной рукой, как подняла крик:

— Ты ранена?! Готова биться на что угодно, ты сделала это нарочно!

— Мне будет заплачено, — возразила Розали.

— Ты думаешь?

— Мне сказал это господин Вульфран.

Но это не успокоило тетушку Зенобию, она продолжала кричать так громко, что переполошила весь дом и заставила даже бабушку Франсуазу выйти на крыльцо. Увидев Розали, она поспешно кинулась к ней.

— Ты ранена? — вскричала она.

— Немного, бабушка... пальцы... это ничего, пройдет.

— Надо пойти за доктором.

— Господин Вульфран уже послал за ним.

Перрина хотела было идти за ними в дом, но тетя Зенобия, обернувшись, остановила ее:

— Мы не нуждаемся в вашей помощи для ухода за больной.

— Спасибо! — крикнула Розали.

Перрине оставалось только возвратиться в мастерскую, но в ту минуту, когда она подходила к решетке, продолжительный свисток возвестил окончание работ.

## Глава XVIII

В течение дня Перрина не раз задумывалась над тем, как бы ей устроить, чтобы не ночевать больше в той ужасной душной комнатке.

Ясно было, что и в следующую ночь она начнет задыхаться и спать будет ничуть не лучше. А если ей не удастся хорошенько выспаться после утомительной дневной работы, как выдержит она завтрашний день?

Для бедной девочки это был очень важный вопрос. Если у нее не хватит силы проработать целый день, ее прогонят с фабрики; если она заболит от этой вечной

бессонницы, ее прогонят еще скорей. А если это случится, кто станет о ней заботиться, кто протянет руку помощи? И ей, быть может, снова придется идти в лес на голодную смерть...

Правда, от нее зависело, пользоваться или не пользоваться койкой на чердаке; но где найдет она другую, получше, и что скажет она Розали, чтобы объяснить, почему годное для других вовсе не годилось для нее? Наконец, как отнесутся к ней остальные жилицы квартиры, когда узнают ее вкусы? Не вызовет ли это вражду с их стороны, из-за которой ей, чего доброго, придется покинуть фабрику? Ей ведь нужно быть не только хорошей работницей, но и такой же, как и все остальные.

Рана Розали меняла все дело! Бедной девушке, по всей вероятности, придется пролежать в постели несколько дней, и она не узнает, что делается там, на чердаке, кто там будет или не будет спать; этих расспросов теперь уже нечего было бояться. Что же касается квартиранток тетушки Франсуазы, то никто из них не знал, кто была их соседка на одну ночь, и если она найдет себе квартиру в другом месте, вряд ли это вызовет пересуды с их стороны.

Придя к такому заключению, Перрине оставалось только решить, где будет она спать этой ночью, если не пойдет в общую квартиру.

Но и тут задумываться было не над чем. Ей в ту же минуту вспомнился так понравившийся ей охотничий шалаш на острове. Вот где была бы чудесная квартира, если только там можно поселиться! Но бояться, кажется, было нечего и некого. Судя по брошенной газете, очаровательное убежище посещалось своими хозяевами довольно редко и, по всей вероятности, только во время охотничьего сезона. Теперь же время охоты прошло, и Перрина смело могла осуществить свою мечту, перебраться на островок и зажить там полной хозяйкой шалаша.

Невозможное еще утром вдруг стало возможным и даже легко исполнимым вечером, и все благодаря ране Розали.

Перрина зашла в булочную, купила полфунта хлеба на ужин и, вместо того чтобы возвратиться к тетушке Франсуазе, зашагала по той же дороге, по которой возвращалась утром в мастерские после своей прогулки.

Но как раз в это же время на дороге, по которой должна была идти Перрина, показалось несколько человек фабричных, живших в окрестностях Марокура и теперь направлявшихся по домам к своим семьям. Девочка, вовсе не желая, чтобы кто-нибудь, хоть случайно, увидел, как она проскользнет по тропинке к ивняку, поспешно свернула в сторону, скрывшись на опушке леса, поднимавшегося вверх по косогору. Когда эти люди пройдут и она останется совершенно одна на дороге, только тогда рискнет она пробраться в свое таинственное убежище. Там, на островке, оставив дверь шалаша отворенной, будет она смотреть на заход солнца и вместе с тем, не спеша, поужинает, вместо того чтобы глотать куски на ходу, как ей пришлось делать это за завтраком.

Как ни спешила Перрина поскорее попасть домой, но ей все-таки довольно долго пришлось просидеть в лесу. За первой группой рабочих прошла вторая, потом третья, за ней еще и еще. Чтобы не терять время попусту, девочка решила воспользоваться своим невольным пребыванием в лесу и сделать кое-какие запасы для своего будущего домика; все необходимое было здесь под руками, и ей стоило только немного поработать, чтобы потом насладиться плодами этих трудов.

Почти вся опушка леса состояла из невысоких и тощих березок, под которыми рос папоротник. Кто мешал ей нарезать березовых веток и сделать из них метлу, которой можно будет подметать земляной пол шалаша? Отчего было не нарезать сухого папоротника и не устроить потом себе из него теплую и мягкую постель?

Забыв об усталости, которая под конец работы так давала себя знать, Перрина тотчас же принялась за дело. В несколько минут метла была готова; в конце ее она приделала ивовую палку, закрепив ее, вместо веревки, тонким ивовым прутом, затем нарезала целую вязанку папоротника и обвязала ее ивовой петлей, чтобы удобнее было перенести в шалаш.

Тем временем последние запоздалые работники прошли, и на дороге не было ни души.

Взвалив вязанку папоротника на спину и взяв в руки метлу, Перрина бегом спустилась с лесистого пригорка и так же быстро перешла дорогу. На тропинке, впрочем, ей пришлось сильно замедлить шаг: папоротник цеплялся за ветки, и, чтобы его протащить, нужно было чуть ли не ползти на четвереньках.

Войдя в шалаш, Перрина начала с того, что выбросила из Него все, что там было; потом она протерла потолок, стены, вымела пол и выбросила сор за дверь. Обитатели пруда, потревоженные этим необычным для них шумом, с громкими криками поспешили удалиться от подозрительного места или попрятались подальше в густом камыше.

Так как шалаш был невелик, то Перрина скоро окончила свою работу, хотя ни одного уголка не оставила неочищенным, затем чурбан снова был поставлен на прежнее место, а сверх старого папоротника толстым слоем были разостланы новые листья, еще сохранявшие аромат цветов, среди которых этот папоротник рос.

Теперь можно было и поужинать; желудок Перрины бил тревогу почти так же сильно, как и в тот памятный день, когда она шла из Экуэна в Шантилльи. Но, к счастью, то время уже миновало, и Перрине оставалось только вспоминать о прошедшем, сравнивая его с настоящим; теперь у нее появилось и надежное убежище, где не надо было бояться ни дождя, ни грозы, и верный заработок на фабрике, и хлеб на ужин, который она могла съесть в любую минуту, не боясь за завтрашний день.

Пока она ужинала, медленно прожевывая маленькие кусочки, население пруда, успокоенное наступившей тишиной, стало возвращаться на ночь в свои гнезда; с резким, пронзительным криком прилетали пернатые обитатели островка и, покружившись в воздухе, тихо опускались на воду или на поросшие ивняком берега; вслед за ними, осторожно выбираясь на простор, показались и те из них, которые скрывались в камышах. Точно очарованная, не шевелясь, сидела Перрина, наслаждаясь чудным зрелищем, которое еще утром доставило ей так много удовольствия.

Когда Перрина доела свой хлеб, который закончился быстро, несмотря на ее старания растянуть трапезу, вода в пруду, только что блестящая как зеркало, вдруг потемнела вместе с догоревшей вечерней зарей. Наступила ночь, а с нею и время сна, особенно необходимого тем, кому нужно работать завтра.

Но прежде чем затворить дверь и растянуться на своем мягком ложе, Перрина приняла последнюю предосторожность — убрала мост, переброшенный через канаву. Это было сделано не только ради безопасности, но и ради удовольствия. Разве не забавно будет говорить себе, что она не имеет никакого сообщения с землей и живет на настоящем острове, который принадлежит, по крайней мере теперь, ей одной? Как жаль, что ей нельзя поднять флаг над крышей я произвести выстрел из пушки, как это делают все путешественники, впервые вступая на какой-нибудь вновь открытый остров.

Перрина энергично принялась за дело и, очистив ручкой своей метлы землю, которой с обеих сторон был засыпан ивовый ствол, служивший мостом, перетащила его на свой берег.

Теперь она могла считать себя здесь полной хозяйкой, царицей своего островка, который она сейчас же и окрестила, как это делают великие путешественники. Выбрать название было легко. Что же еще могло лучше соответствовать ее настоящему положению, как не то, чем она жила все время со дня смерти матери:

«Добрая Надежда».

Положим, уже есть мыс Доброй Надежды, но то мыс, а это остров. Кто же станет путать мыс с островом?

В ту ночь Перрина быстро заснула глубоким, крепким сном. Когда на другое утро птицы разбудили ее своим пением, а солнечные лучи, проникнув в одно из отверстий шалаша, скользнули по ее лицу, девочка решила, что спать больше не следует. Лежа на постели, она продолжала дремать, чутко прислушиваясь в то же время к малейшему звуку,

чтобы не пропустить первый призыв фабричного свистка...

## Глава XIX

Едва в чистом утреннем воздухе раздались первые резкие звуки сигнала, как Перрина была уже на ногах. Умывшись холодной водой из пруда и приведя в порядок свой туалет, она приготовилась идти на работу. Но как ей перебраться с островка на твердую землю? Опять воспользоваться бревном было бы не только слишком просто и неинтересно, но даже, пожалуй, опасно. Кто угодно мог бы тогда без труда проникнуть на остров, и кто знает, что из этого может выйти потом. Несколько минут Перрина в раздумье стояла на берегу канавы, спрашивая себя, сможет ли она перепрыгнуть через это препятствие, как вдруг взгляд ее упал на длинную жердь, подпиравшую шалаш с наружной стороны. Девочка немедленно решила воспользоваться ею, чтобы перескочить через канаву. Это не представляло для нее никакой сложности: прыжки при помощи шеста всегда были ее любимой игрой.

Спрятав шест в густой траве и заметив место, Перрина тронулась в путь и явилась на фабрику одной из первых. Люди собрались группами и толковали о чем-то с особенным оживлением. Перрине очень хотелось узнать, о чем говорят, и она подошла к одной из групп; несколько случайно расслышанных слов объяснили ей все.

— Бедная девочка!

— Ей отрезали палец?

— Да, мизинец.

— А другой?

— Другой остался.

— Очень она кричала?

— Она так редела, что даже те, кто только слышал ее крики, и те плакали.

Перрина догадалась, о ком идет речь, и сердце ее болезненно сжалось; хотя она знала Розали всего два дня, но за это время успела полюбить и оценить ее доброту. Когда, полная тревоги за будущее, она шла в Марокур, эта девушка, теперь ставшая калекой, первая так сердечно отнеслась к ней, помогла ей своими добрыми советами и даже устроила ее на фабрику.

Она машинально подняла глаза и вдруг увидела подходящего к решетке мистера Бэндита. Тогда, не отдавая себе отчета в том, что делает, она встала и, несмотря на всю свою скромность, подошла к суровому на вид англичанину.

— Сэр, — сказала она по-английски, — не позволите ли вы мне спросить вас, если только вы знаете, как здоровье Розали?

Ах, бедная девочка не очень-то надеялась получить ответ, но чопорный англичанин довольно благосклонно взглянул на нее, а затем ответил:

— Я видел сегодня утром ее бабушку, она мне сказала, что девушка спала хорошо.

— Ах, сэр, благодарю вас!

Но мистер Бэндит, во всю свою жизнь никогда и никого не благодаривший, даже и не почувствовал, сколько было тревоги, волнения и сердечной благодарности в восклицании Перрины.

— Очень рад, — проговорил он, продолжая свой путь.

Все утро за работой Перрина не переставала думать о больной подруге, и как только наступило время отдыха, она побежала к дому бабушки Франсуазы; но так как она имела несчастье попасть на тетку, то и не проникла дальше порога.

— Навестить Розали? Это еще зачем? Доктор запретил тревожить больную. Когда она



поправится, то сама расскажет вам, как дала себя искалечить.

Прием, оказанный ей утром, не позволил Перрине опять прийти вечером, и после окончания работ она напрямик отправилась на свой остров, который нашла таким же, каким покинула. Так как никаких работ на этот вечер не предстояло, то Перрина сразу принялась за ужин, стараясь отрезать кусочки хлеба как можно меньше, чтобы не только растянуть подольше удовольствие, но и не потерять ни одной крошки. Но полфунта хлеба не могло хватить надолго, и когда последняя крошка была съедена, солнце все еще высоко стояло на горизонте. Тогда, сев на чурбачок и оставив дверь открытой, она стала любоваться открывавшимся перед нею видом на пруд и на тянувшиеся за ним луга, мечтая в то же время о будущем.

Для того чтобы жить, ей необходимо было разрешить три главных вопроса: обеспечить себе квартиру, пищу и одежду.

Квартиру она случайно нашла в шалаше, где надеялась спокойно прожить, по крайней мере, до октября, без малейших денежных расходов.

Гораздо труднее было разрешить вопрос относительно пищи и одежды.

В состоянии ли она будет выносить тяжелую фабричную работу, съедая в течение нескольких месяцев всего лишь фунт хлеба в день? Перрина этого не знала, так как раньше ей никогда еще не приходилось работать серьезно. Она знала горе, усталость, лишения, но все это было временное, продолжалось каких-нибудь несколько дней и очень скоро забывалось. Совсем другое дело работа, особенно работа тяжелая, изо дня в день, требующая большой траты сил. Ей и теперь уже начинает казаться, что фунта хлеба как будто недостаточно на целый день; но с этим она готова была бы примириться, лишь бы голод не повредил ее здоровью. Впрочем, скоро она получит недельный заработок и сможет увеличить обычную порцию хлеба и даже прибавлять к ней немного масла или кусок сыра. Оставалось только ждать, а она, была терпелива и в случае необходимости могла ждать хоть целые недели.

Вот об одежде нужно было подумать серьезно. В течение нескольких дней, проведенных с Ла-Рукери, она починила и заштопала все и, кажется, сделала это довольно хорошо; но материя была уже так ветха, что заплатки не держались, и Перрина опять начинала походить на жалкого оборванца.

Башмаки ее и вовсе так износились от постоянной ходьбы, что починить их не было никакой возможности; еще несколько дней, и их просто придется бросить. Что она будет делать тогда? Купить новую обувь? Но не все то возможно, что необходимо. Где она возьмет денег для того, чтобы сделать подобный расход?

В грустном раздумье сидела Перрина на своем чурбачке, бесцельно глядя на серебристую поверхность пруда, как вдруг взор ее остановился на густом тростнике, тихо шелестевшем под дуновением ветерка. Стебли тростника были уже крепки, высоки и довольно толсты; кроме того, тут же, среди молодых растений лежали на воде и остатки прошлогодних, не совсем еще сгнивших. В ту же минуту в уме девочки возникла мысль воспользоваться этим тростником. Носят ведь не только кожаные и деревянные башмаки, есть еще и так называемые *espadrilles*, подошва которых делается из плетеного тростника, а верх из парусины. Почему бы ей не попробовать смастерить себе что-нибудь в этом роде, благо тростника у нее под рукой сколько угодно, а лоскуток парусины недорого стоит.

Обрадованная этой счастливой мыслью, Перрина решила немедленно приступить к делу и, перепрыгнув через канаву, направилась вдоль берега к тому месту, где рос тростник. В одну минуту была нарезана и отнесена в шалаш целая вязанка самых лучших стеблей. Не откладывая дела в долгий ящик, Перрина сейчас же принялась за работу.

Скоро Перрина сообразила, что такая подошва будет слишком легка и непрочна из-за присутствия воздуха внутри тростинок; чтобы устранить это неудобство, следовало размять стебли, превратить их в толстые нити и потом уже плести из них полоски. Осуществить это было очень легко: в шалаше стоял чурбан, на котором можно разбить тростник, а молоток девочка заменила круглым камнем, который ей удалось найти на дороге.

Ночь застала ее за этой работой, и она легла спать, мечтая о хорошеньких туфлях с голубыми лентами, в которых она будет щеголять на фабрике.

На следующий вечер плетенки уже было приготовлено достаточно, так что можно было приниматься за подошвы. На другой день после этого, возвращаясь с работы, Перрина зашла в лавку и купила себе кривое шило, стоившее одно су, потом клубок суровых ниток тоже в одно су, кусочек голубой бумажной ленты в ту же цену и двадцать сантиметров толстого тика за четыре су, так что всего она истратила семь су — ровно столько, сколько она могла истратить, если не хотела остаться без хлеба в субботу.

Наскоро поужинав, Перрина принялась за шитье подошв, взяв за образец свои башмаки; первая проба оказалась неудачной — подошва вышла совсем круглая, что не очень-то подходило к форме ноги; вторая, хотя была сделана и лучше первой, но тоже мало походила на образец; третью постигла та же участь, и только четвертая выглядела совсем как настоящая подошва, сделанная по всем правилам башмачного искусства.

Какая радость! И к тому же новое доказательство того, что при желании и настойчивости всегда удается все, что мы хотим сделать, как бы трудно и невозможно ни казалось оно сначала.

Но вот беда, у нее не было ножниц. О покупке их нечего было и думать, и Перрина решила заменить ножницы ножом. На точильном камне, найденном на берегу реки, она наточила свой нож и раскроила им тик, разложив его на чурбаке.

Сшить куски материи тоже удалось не сразу, и ей пришлось несколько раз распарывать швы и переделывать все снова. Но, наконец, все было кончено, и в субботу утром Перрина с гордостью отправилась на работу в красивых, серых *espadrilles*, которые крепко были привязаны к ногам голубой лентой, перекрещенной на чулке.

Во время этой работы, занявшей у нее четыре вечера и три утра от восхода солнца и до свистка, она не раз подумывала, как быть с башмаками. Украсть, положим, их не могли, так как без нее едва ли кто-нибудь чужой зашел бы в шалаш; но его могли посетить водяные крысы, которые, конечно, не замедлят полакомиться ее башмаками. А это было бы большим несчастьем для нее. Следовало спрятать башмаки, и притом в такое место, где крысы не могли бы их достать. После долгих размышлений Перрина не придумала ничего лучшего, как повесить башмаки на ивовую ветку, почти под самым потолком.

## Глава XX

Хотя Перрина и гордилась своей самодельной обувью, но тем не менее она не без страха подумывала о том, как-то выдержат ее *espadrilles* походы на работе. Вот почему, нагружая вагонетку и толкая ее перед собой, она все время посматривала на свои ноги. Башмаки держались прекрасно, но долго ли это будет продолжаться?

Поведение Перрины обратило на себя внимание одной из ее товарок; посмотрев на *espadrilles* и найдя их очень красивыми, она обратилась к девочке с вопросом:

- Где вы купили эти башмаки?
- Это не башмаки, а туфли.
- Они прехорошенькие; дорого вы за них дали?
- Я их сама сделала из плетеного тростника и тика.
- Какая вы мастерица!

Эта первая удача вдохновила Перрину взяться за другую работу, гораздо более мудреную, о которой она очень часто думала, но постоянно ее откладывала, отчасти потому, что она влекла за собой слишком большие расходы, а отчасти и потому, что она казалась ей почти неисполнимой: ей хотелось выкроить и сшить себе рубашку, взамен той, которую она так долго носила и не могла даже снять, чтобы выстирать. Ей нужно не больше двух метров

коленкора, но вот вопрос, сколько это будет стоить? Сама она этого не знала. И потом, если она даже и купит коленкор, как надо его кроить? Этого она тоже не знала. И без того трудная задача усложнялась еще и тем, что Перрина пребывала в нерешимости: не купить ли ей вместо коленкора ситец и не сделать ли из него юбку и кофту, на смену своему костюму, который с каждым днем изнашивался все больше, так как девочка принуждена была и спать в нем. Ей все равно скоро придется его бросить, и в чем тогда будет она ходить на фабрику?

Однако, когда в субботу вечером у Перрины в руках очутились три франка, заработанные ею за неделю, она не могла устоять против искушения купить себе материал на рубашку. Приобретение кофты и юбки она считала столь же необходимым, но рубашка была для нее важнее всего в данное время. Главную роль тут играла ее привычка к чистоплотности. Юбку же и кофту она рассчитывала поносить еще некоторое время, конечно, починив их хорошенько, как только управится с шитьем рубашки.

Каждый день после завтрака, заменявшего ей обед, отправляясь к дому тетушки Франсуазы узнать о здоровье Розали, Перрина останавливалась на одну минуту перед мелочной лавкой посмотреть на выставленные в витрине товары; внизу разложены были книги, картинки, песенники, а немного повыше полотно, коленкор, ситец и кое-какие полезные мелочи. Стоя перед витриной, Перрина делала вид, что рассматривает книги или картинки, а на самом деле любовалась материей. Как должны быть счастливы те, кто имеет возможность заходить в эту соблазнительную лавку и покупать все, что там есть! Стоя у витрины, она не раз видела, как фабричные девушки входили в лавку и затем выходили оттуда с покупками, тщательно завернутыми в бумагу, прижатыми к своему сердцу. Тогда бедная девочка говорила себе, что подобное счастье не для нее, по крайней мере, теперь.

И вот, оказывается, что и она, если пожелает, может переступить заветный порог; в этот вечер, возвращаясь с фабрики, она держала в руке три серебряные монеты, по франку каждая. Подумав секунду, Перрина робко вошла в лавку.

— Что вам угодно, мадемуазель? — приветливо улыбаясь спросила у нее сидевшая в лавке худенькая маленькая старушка.

Как давно не говорили с ней так мягко.

— Скажите мне, по сколько вы продаете коленкор, самый дешевый? — спросила она.

— У меня есть коленкор по сорок сантимов за метр.

Перрина с облегчением вздохнула.

— Будьте любезны отрезать мне два метра.

Лавочница достала штуку коленкора по сорок сантимов, и Перрина заметила, что он был гораздо хуже того коленкора, каким она любовалась в витрине.

— Еще что-нибудь прикажете? — спросила лавочница, с треском оторвав коленкор.

— Еще мне нужны нитки.

— На клубке, в мотке или на катушке?

— Что дешевле?

— Вот клубок за десять сантимов; вместе с коленкором все будет стоить восемнадцать су.

Теперь и Перрина испытала эту радость: выйти из лавки, прижимая к себе свои два метра коленкора, завернутые в старую газету. Из трех франков она не истратила и одного, так что до следующей субботы у нее оставалось еще сорок два су; иначе говоря, за вычетом двадцати восьми су на покупку хлеба на всю неделю, у нее еще на всякий случай имелся капитал в четырнадцать су, благодаря тому, что ей не приходилось платить за квартиру.

Бегом пустилась она к своему шалашу и сейчас же принялась за работу. Разорвать на

куски два метра коленкора и потом сшить полотнища было делом довольно легким, и Перрине даже не пришлось ничего переделывать. Гораздо труднее было вырезать ворот и сделать проймы для рукавов, заменяя необходимые при такой работе ножницы ножом. Но, наконец, и это было сделано, и во вторник утром Перрина надела новую рубашку, ей самой заработанную, самой скроенную и сшитую.

Когда в этот день она подошла к дому тетушки Франсуазы, навстречу к ней вышла Розали, держа руку на перевязи.

— Вы уже совсем поправились? — обрадовалась Перрина.

— Нет еще, но мне позволили вставать и выходить на воздух.

Довольная, что наконец видит Розали, Перрина весело болтала с ней, но та отвечала как-то нехотя. Наконец, после долгого колебания, Розали задала вопрос, который сразу объяснил Перрине, в чем дело.

— Где вы теперь живете?

Боясь сказать правду, Перрина постаралась уклониться от ответа.

— Здесь слишком дорого для меня; мне ничего не оставалось на еду и одежду.

— Разве вы нашли где-нибудь дешевле?

— Я ничего не плачу.

— А!

Розали немного помолчала, но потом любопытство взяло верх, и она снова спросила:

— У кого?

Обойти такой прямой вопрос было нельзя.

— Я вам скажу позднее, — произнесла Перрина.

— Как хотите; только не советую вам попадаться на глаза к тете Зенобии: она на вас сердита. Приходите лучше вечером: в это время она всегда занята.

Опечаленная, вернулась Перрина в мастерскую. Чем, в самом деле, была она виновата, что не могла больше жить в комнатке на чердаке?

Разговор с Розали так сильно повлиял на нее, что весь день она не могла отделаться от щемившей сердце тоски. Желая стряхнуть с себя это тяжелое чувство, к вечеру еще более усилившееся, Перрина решила отправиться погулять по лугам, окружавшим ее остров и до сих пор еще не обследованным ею. Вечер был прекрасный и теплый; вершины деревьев, казалось, купались в бледно-золотистом тумане: аромат начавшей уже отцветать травы наполнял воздух.

Перебравшись через канаву, Перрина пошла вдоль берега пруда по высокой траве, по которой никто еще не ходил в нынешнем году. По временам она останавливалась, чтобы взглянуть на свой шалаш, со всех сторон защищенный тростником; он так хорошо сливался с покрывавшими его ивовыми ветками, что дикие животные и птицы не могли бы заподозрить, что он был делом рук человеческих и что там мог сидеть кто-нибудь в засаде с ружьем в руках.

После одной из таких остановок, когда Перрина хотела выбраться из тростника на луг, под ногами у нее, почти около самой воды, что-то зашевелилось, и затем с шумом шмыгнула в воду дикая утка. Приглядевшись, Перрина увидела над водой гнездо, сделанное из травяных стеблей и перьев; и нем лежало десять грязно-белых яиц с маленькими орехового цвета крапинками.

Опасаясь испугать утку, Перрина отошла подальше и спряталась в высокой траве, решив проверить, вернется ли птица в гнездо. Но утка не спешила возвращаться, из чего девочка сделала вывод, что она еще не сидела на яйцах, которые, по всей вероятности, были только недавно снесены.

Наконец пруд, в середине которого был расположен остров «Доброй Надежды», кончился, оказавшись большой торфяной выемкой, наполненной водой; узкий канальчик соединял его с другим прудом, гораздо больших размеров, по берегам которого почти не росло деревьев. Птиц здесь водилось значительно меньше, так как им негде было укрыться.

Зато ее пруд, со своими густыми деревьями, высоким тростником и водорослями,

покрывавшими воду ковром подвижной зелени, был словно создан для удобства для пернатых обитателей, которые могли здесь находить даже обильный корм, И когда, час спустя, возвращаясь назад, Перрина опять увидела свой пруд, уже окутанный легкими сумерками, такой спокойный, такой зеленый, такой красивый, она сказала себе, что поступила не глупее птиц, избрав маленький островок своим гнездом.

## Глава XXI

За последние месяцы жизнь не баловала бедную девочку, а потому и сны ее были невеселы и печальны. Сколько раз, особенно с тех пор, как беды начали преследовать ее, просыпалась она среди ночи вся в поту и, принимая сон за действительность, продолжала бредить даже наяву. Но со времени прибытия в Марокур, согретая надеждой на успех, в котором она уже стала было отчаиваться, а также и благодаря работе на фабрике, сильно утомлявшей ее, она все реже видела кошмары, сдавливавшие словно тисками ее сердечко.

Теперь, ложась спать, она думала о том, что завтра ей опять надо идти на фабрику, которая приютила ее и дает ей постоянный заработок, или же строила планы о своей будущей жизни на островке, соображая, что еще надо ей сделать; или же, наконец, она мечтала об *espadrilles*, о рубашке, кофточке и юбке, которые она себе непременно сошьет, как только накопит немного деньжонок. И засыпая, она продолжала грезить тем же, о чем думала вечером: то ей снилась громадная, ярко освещенная мастерская, где по мановению жезла доброй волшебницы все станки и машины приходили в движение, так что работавшим около них детям не оставалось почти никакого дела; то она как бы присутствовала на каком-то празднике, где все окружающие ее, все те же фабричные труженицы, от души веселились, наслаждаясь выпавшим на их долю счастливым днем; то воображение переносило ее на новый чудный остров, какого она еще не видела, где водились самые необыкновенные животные и птицы, каких только может создать фантазия, да и то во время сна.

Но не всегда сны Перрины были только продолжением того, о чем она думала днем или вечером. В эту ночь, когда, вволю нагулявшись, она вернулась, наконец, в свой шатер и с наслаждением вытянулась на мягкой постели, думая о восхитительной прогулке по окрестностям, ей приснилась гигантских размеров кухня, где целая армия фантастических поваров хлопотала вокруг огромных столов и гигантской жаровни, взбивая яичные белки в пену, высоко поднимавшуюся наподобие большого снежного кома. Тут были яйца всевозможных форм и размеров: одни громадные, как дыни, другие маленькие, как горошинки, одни пестрые, другие гладкие, белые, синие, красные, желтые, — словом, всех цветов и оттенков, какие только существуют. Повара приготавливали из них какие-то необыкновенные кушанья бесчисленными способами: тут были яйца всмятку, с сыром, с маслом, с томатами, были яичницы с поджаренными ломтиками хлеба, с ветчиной, с салом, с картофелем, с почками, с вареньем, с ромом, пылавшим голубоватым огнем. Несколько раз, пробуждаясь среди ночи, Перрина пыталась отогнать от себя этот глупый сон, но едва она засыпала снова, как повара опять принимались за свою стирню.

Только рев фабричного свистка положил конец этим грезам; но впечатление от сна было настолько сильно, что даже наяву некоторое время ей мерещилась волшебная кухня, и она с наслаждением вдыхала в себя аромат, распространявшийся от шоколадного крема, который только-только приготовили специально для нее; если бы не свисток, она, наверно, успела бы полакомиться этой прелестью.

Немного позднее, когда Перрина совсем пришла в себя, она догадалась, почему в эту ночь ей привиделся такой странный сон. Причина была весьма простая: сновидение оказалось прямым результатом ее вечерней прогулки по лугам, во время которой она набрела на гнездо чирка. В этом гнезде лежали яйца — вкусная и сытная пища, а желудок ее уже целые две недели не получал ничего, кроме хлеба и холодной воды. Тело ее требовало полноценного питания: отсюда и этот сон, эта кухня, повара и груды яиц; виновником всего этого был только один изголодавшийся желудок.

Да и почему не взяла она себе несколько яиц? Чирок ведь птица дикая, хозяев у нее нет, и никто не будет ее преследовать. Если не брать яйца только потому, что у нее нет ни кастрюли, ни печки, где она могла бы их приготовить, то это ровно ничего не значило. Яйца тем и хороши, что их можно варить или печь где угодно.

Мысль эта неотступно преследовала Перрину весь день; кончилось тем, что вечером, после работы, возвращаясь домой, она зашла в лавку и купила там коробку спичек и соли на одно су.

Накануне Перрина хорошо запомнила место, где обнаружила гнездо, и нашла его в одну минуту; птицы не было, но зато в гнезде лежало уже не десять, а одиннадцать яиц; это доказывало, что чирок еще не садился на яйца и продолжал нестись.

Для девочки это было несказанной удачей, во-первых, потому, что яйца, значит, свежие, а во-вторых, потому, что если взять из них штук пять или шесть, то чирок, конечно, и не заметит этого.

Если бы это случилось раньше, Перрина не спрашивала бы себя, брать или не брать, и не задумываясь опустошила бы все гнездо. Но она видела столько горя в жизни, что ей тяжело было причинить хоть малейшее страдание другому человеку или животному.

Теперь надо было выбрать место, где сварить яйца; близко к шалашу разводить огонь было опасно: даже легкий дымок мог показаться подозрительным кому-нибудь из прохожих. Спокойней было сделать это в большой яме, на опушке леса, где обыкновенно останавливаются все проезжающие. Недолго думая, Перрина набросала целую охапку сухого хвороста, подожгла его спичкой, и меньше чем через полчаса уже могла положить яйцо в горячую золу. Продержав его там ровно столько, сколько следовало, чтобы не переварить, Перрина тут же принялась за ужин. Ах, с каким наслаждением обмакивала она кусочки хлеба в жидкую, тепловатую массу! Как вкусно это было после сухого, черного хлеба! Бедной девочке даже казалось, что еще никогда в жизни не приходилось ей есть такое вкусное яйцо.

Человек почти никогда не бывает доволен настоящим и всегда мечтает о чем-то лучшем. То же самое случилось и с Перриной. Еще накануне весь ужин ее состоял из одного сухого хлеба, и прибавление к нему яйца, казалось, должно было удовлетворить ее неприхотливый желудок, а между тем вышло наоборот. Еще яйцо не было доедено, как она уже стала думать о том, как бы можно было иначе приготовить яйца, которые отныне она будет доставать из гнезда? Яйцо всмятку, конечно, вкусно, но в горячем супе оно было бы еще вкуснее. Но ведь для того, чтобы приготовить суп, нужно иметь какую-нибудь посуду — кастрюлю или глиняный горшок, — а где она возьмет ее? Если у нее хватило умения сделать себе туфли и сшить рубашку, то это вовсе не значит, что у нее хватит умения смастерить себе и глиняный горшок. А без него супа не сварить. Приходилось ждать до тех пор, пока не накопится достаточно денег на покупку горшка или кастрюли, да кстати и ложки, потому что сделать ложку, хотя бы даже деревянную, она не сумеет, — ну, а есть без ложки не особенно-то удобно.

Но однажды утром, идя на работу, у двери одного из крайних домов, откуда только накануне съехали квартиранты, Перрина увидела ворох соломы и всякого сора; тут же валялись и консервные банки всевозможной величины и формы.

Она машинально остановилась, и вдруг в голове ее мелькнула мысль: «Вот прекрасный случай запастись всевозможной утварью! Из этого можно сделать и кастрюли, и блюда, и ложки, и вилки!» Одним прыжком перескочила она через дорогу, наскоро выбрала четыре жестянки побольше и бегом пустилась дальше. В одном из переулков, в густой траве около забора спрятала она свою находку, чтобы, возвращаясь вечером домой, захватить ее, если только к тому времени ее не украдут.

К счастью Перрины, никому из проходивших мимо ее драгоценностей не пришло в голову их унести, и когда девочка вечером подошла к забору, все жестянки оказались на том же самом месте, где она их оставила.

Так как ни разводить огня, ни шуметь на островке было нельзя, то Перрина отправилась все к той же яме, надеясь найти там несколько камней, которыми она могла бы

заменить молотки, наковальню и ножницы.

Почти три дня стучала и выбивала Перрина жесь в своей яме и, наконец, сделала ложку, хотя не всякий бы сразу угадал, что это такое. Но ведь делала она ее для себя, для того, чтобы есть этой ложкой суп, который теперь она могла сварить в одной из жестянок.

Оставалось добыть еще масла и щавеля; масло она купит в лавке, а щавель всегда можно нарвать самой на лугу, где растет еще и дикая морковь, и дикий лук, и другие овощи.

Теперь Перрина могла разнообразить свое меню. Никто не мешал ей присоединить к яйцам и зелени еще и рыбу из пруда: добыть ее будет совсем не трудно, если она обзаведется удочкой. На одно су купила она в деревенской лавке крючки, а из оставшихся после шитья тфель ниток и подобранных около кузницы конских волос сплела и лесу. Удочка была не бог весть какая, но на червяков все-таки шла рыба. Не особенно крупная, — та брезговала такой приманкой и просто обходила ее, — а более мелкая рыбешка не прочь была, по-видимому, полакомиться червяком и попадала на ужин Перрине.

## Глава XXII

Занятая своими хозяйственными делами, отнимавшими у нее все вечера, Перрина целую неделю не ходила к Розали; впрочем, через одну из работниц, жившую у тетушки Франсуазы, она получала о ней известия и знала, что ее подруга поправляется. Наконец, как-то вечером она решила сначала посетить Розали и уже потом идти домой, тем более что в этот день ей не надо было заниматься стряпней: на обед оставалась холодная рыба, пойманная и сваренная еще накануне.

Внучка Франсуазы была одна во дворе и сидела под яблоней; увидев Перрину, она подошла к живой изгороди с полусердитым, полудовольным видом.

— Я уже думала, что вы больше ко мне не придете.

— Я была очень занята все это время.

— Чем же?

Перрина, смеясь, рассказала ей, как смастерила себе туфли и рубашку.

— Разве вы не могли достать ножниц у кого-нибудь из живущих в вашем доме?

— В моем доме не у кого попросить ножниц.

— У всех есть ножницы.

Подумав немного, Перрина решила посвятить Розали в свою тайну, так как боялась, что дальнейшее умалчивание может обидеть девушку, а она очень полюбила Розали и вовсе не хотела быть с ней в ссоре.

— В моем доме, кроме меня, никто не живет, — улыбаясь, проговорила она.

— Не может быть!

— Уверяю вас. Вот почему мне пришлось самой сделать кастрюлю, чтобы варить суп, и ложку, чтобы его есть. И знаете, что я вам скажу? Сделать ложку оказалось гораздо труднее, чем смастерить туфли.

— Вы смеетесь!

— Да нет же, с чего вы взяли?

И Перрина откровенно, веселым голосом рассказала ей про свою жизнь в шалаше, про поиски яиц в гнездах диких птиц, рассказала о том, как сделала себе кухонную посуду, как ловит рыбу в пруде и готовит сама себе обед в большой яме на опушке леса.

Розали поминутно восхищенно вскрикивала, словно слушала чрезвычайно интересную историю.

— Как вам должно быть весело! — воскликнула она, когда Перрина поведала ей, как

она варила себе свой первый суп из щавеля.

— Когда все удается — да; но когда дело не идет на лад — ужасно! Я три дня работала над своей ложкой и никак не могла придать ей нужную форму; я испортила два куска жести, и у меня оставался всего только один кусок. У меня и теперь еще болят пальцы от ударов камнем.

— А ваш суп?

— О, он был такой вкусный!

— Верю.

— Но, разумеется, только для меня, потому что я давно уже не ела ничего горячего.

— Я ем суп каждый день, но это совсем не то; как странно, что в лугах можно найти щавель и морковь.

— О, там растет еще кресс, лук, салат, петрушка, репа, свекла и много других съедобных растений.

— Да ведь это надо уметь находить?

— Мой отец научил меня отыскивать их.

Несколько минут Розали стояла молча, видимо, что-то обдумывая, и потом решила произнести:

— Позвольте мне прийти к вам в гости.

— Пожалуйста, я буду очень рада. Только пообещайте никому не говорить, где я живу.

— Даю слово.

— Когда же вы придете?

— Я пойду в воскресенье к одной из моих теток в Сен-Пипуа и на обратном пути, после обеда, зайду к вам.

Тут наступила очередь Перрины на минуту задуматься, а потом она сказала:

— Лучше уж пообедайте со мной. Уверю вас, что вы меня очень обрадуете, — я так одинока.

— Да, верно.

— Ну, так решено! Только не забудьте захватить с собой ложку, потому что у меня нет ни времени, ни жести, чтобы сделать другую такую же.

— Кстати, я принесу с собой и хлеба. Можно, а?

— Хорошо. Вы найдете меня в лесу, в моей кухне. Я буду ждать вас и заниматься стряпней.

Подруги расстались.

Перрина ничуть не кривила душой, говоря Розали, что охотно примет ее у себя, и уже заранее радовалась. Но сколько дела: надо принять гостью, составить меню, найти провизию... Могла ли она несколько дней тому назад думать, что ей придется угощать обедом свою подругу?

Самое главное было добыть яиц и рыбы, потому что если она не разыщет ни того, ни другого, то весь обед будет состоять из одного щавелевого супа, а это не угощение для званого обеда. Начиная с пятницы, все вечера Перрина только и была занята тем, что внимательно осматривала прибрежные камыши по соседним озерам, и ей удалось найти гнездо водяной курочки; правда, яйца водяной курочки меньше яиц чирка, но привередничать было нечего. Зато рыбная ловля шла гораздо успешнее: ей удалось поймать довольно крупного окуня, которого вполне было достаточно для двоих. Затем появилась возможность после обеда подать и десерт: над ивой приютился куст крыжовника, и ягоды на нем были уже довольно большие, хотя, может быть, и не совсем еще спелые; но ведь главное достоинство крыжовника в том и состоит, что его можно есть зеленым.

Когда в воскресенье, в полдень, пришла Розали, она нашла Перрину сидящей перед огнем, на котором кипел суп.

— Я только вас и ждала, чтобы выпустить желток в суп, — проговорила Перрина, — будьте так добры, помогите мне! Возьмите вот эту ложку и размешивайте желток, пока я буду потихоньку лить бульон; хлеб нарезан.



Хотя Розали и принарядилась по случаю обеда, но она с радостью принялась помогать своей подруге в ее работе, находя ее очень забавной.

Скоро суп был готов; оставалось только донести его до острова, что Перрина сделала сама.

Чтобы принять свою подругу, все еще носившую руку на перевязи, Перрина снова уложила на прежнее место бревно, служившее мостом.

— Я вхожу и выхожу с помощью шеста, — сказала она, — но вам это было бы неудобно при вашей больной руке.

Когда открылась дверь в шалаш и Розали увидела красующиеся во всех четырех углах огромные букеты из полевых цветов и расставленную на земле посуду, она воскликнула:

— Ах, как у вас здесь хорошо!

На подстилке из свежего папоротника два больших листа чистотела лежали друг против друга, заменяя тарелки, а на листе медвежьей лапы, самом большом, как и подобало для блюда, лежал окунь, убранный крессом; около него на маленьком листочке насыпана была соль, а немного подальше на двух отдельных листках, служивших десертными тарелочками, пирамидками возвышался крыжовник. Между блюдами в папоротник воткнуты были белые цветы водяной лилии, красиво выделявшиеся на зеленом фоне скатерти.

— Садитесь, пожалуйста, — протягивая руку Розали, пригласила Перрина.

Когда девушки заняли свои места, начался обед.

— Я очень жалела бы, если бы не могла прийти к вам, — сказала Розали с полным ртом. — Все здесь так красиво так вкусно.

— Что же могло вам помешать?

— Меня хотели послать в Пиккиньи к мистеру Бандиту который сейчас болен.

— Что с ним?

— Тифозная горячка; он очень болен, а со вчерашнего дня лежит в бреду и никого не узнает. Поэтому-то я вчера чуть было не пришла за вами.

— За мной? Зачем?

— У меня мелькнула в голове одна мысль.

— Если я могу что-нибудь сделать для мистера Бэндита, то я с удовольствием сделаю. Он так добр ко мне. Но только что же я могу сделать для него?

— Сначала дайте мне еще немного рыбы и крессу, а потом я вам все объясню. Вы ведь знаете, что мистер Бэндит снимается иностранной корреспонденцией: он переводит английские и немецкие письма. Так как теперь он лежит в бреду, то не может и переводить. Сначала хотели послать за кем-нибудь другим, чтобы его заменить. Но для того, чтобы ни не потерял места, господин Фабри и господин Монблэ вызвались заменить его, пока он не поправится. Вдвоем они еще кое-как справлялись, но теперь господина Фабри послали в Шотландию, и господин Монблэ оказался в сильном затруднении, потому что хотя он и довольно хорошо знает оба языка, но без господина Фабри дело у него идет не так-то успешно, особенно с английскими письмами. Вчера он говорил об этом во время обеда, когда я прислуживала, и мне пришлось в голову сказать ему, что вы говорите по-английски, как по-французски...

— Я говорю по-английски, но перевести деловое письмо — это совсем другое дело.

— С помощью господина Монблэ это не будет трудно; он объяснит вам то, чего вы не поймете.

— Ну, в таком случае, скажите господину Монблэ, что я буду только счастлива сделать что-нибудь для мистера Бэндита.

— Я ему скажу.

Окунь, несмотря на свою величину, был съеден подчистую, а вместе с ним и кресс. Дошло дело и до десерта. Перрина встала и заменила листья медвежьей лапы, на которых

была подана рыба, листьями водяной лилии в виде чашек, лакированных и покрытых жилками, как самая лучшая эмаль; потом она предложила свой крыжовник.

— А теперь, — смеясь проговорила она, — попробуйте фрукты из моего сада.

— Где же ваш сад?

— Над вашей головой: в ветвях ивы, к которой прислонился шалаш, вырос куст крыжовника.

— А знаете, что вам недолго придется жить в этом шалаше?

— Я думаю, до зимы.

— До зимы?! Скоро должна начаться охота за болотной дичью; шалаш в это время, наверное, понадобится.

— Ах, боже мой!

Сердце маленькой царицы острова болезненно сжалось. День, начавшийся так прекрасно, кончился столь грозным известием, и эта ночь была, конечно, самой тяжелой из всех ночей, проведенных Перриной в шалаше.

Куда она пойдет, если судьба лишит ее этого мирного убежища?

А вся ее посуда, которою она с таким трудом обзавелась — куда она ее денет?

## Глава XXIII

Перрина была сильно встревожена известием о предстоящем начале охотничьего сезона; но рассказ о болезни мистера Бандита скоро дал совсем другое направление ее мыслям.

Конечно, остров ее прекрасен, и покинуть его было бы очень жаль, но вечно оставаться здесь все равно нельзя, да и не следовало: ей во что бы то ни стало нужно добиться своей цели и исполнить обещание, данное умирающей матери. Теперь, если ей действительно удастся попасть хотя бы во временные помощницы сначала к господину Монблэ, а потом и к мистеру Бандиту, она, быть может, скорей откроет себе двери, которые иначе навсегда останутся для нее закрытыми. Не хотелось, очень не хотелось Перрине покидать свое маленькое царство, но и оставаться там дольше серьезных причин не было. Неужели для того переносила она все лишения и даже чуть не погибла в дороге, чтобы только иметь возможность вести таинственную жизнь на островке, собирать яйца по гнездам и варить обеды в большой яме на опушке леса, боясь каждую минуту, что ее обнаружат?

На следующий день, в понедельник, едва Перрина вернулась в мастерскую после полуденного перерыва, ее позвал дядя Костыль.

— Ступай скорее в контору.

— Зачем?

— Я почему знаю? Мне приказано послать тебя в бюро, ну, и ступай!

Перрина больше не стала ни о чем спрашивать. Угрюмый дядя Костыль не любил лишних разговоров, да она и догадывалась, зачем ее зовут. Не понимала она только, почему ее вызывают именно в контору. Там нельзя заниматься переводами, ведь тогда все служащие узнали бы, что господин Монблэ не может справиться сам и прибегает к посторонней помощи.

Талуэль был на веранде и, заметив Перрину, позвал ее:

— Ступай сюда!

Перрина поспешно поднялась по ступенькам крыльца.

— Ты говоришь по-английски? — спросил он. — Смотри, отвечай правду, не лги!

— Моя мать была англичанка.

— А где же ты научилась говорить по-французски?

— Отец мой был француз.

— Значит, ты говоришь на обоих языках?

— Да, сударь.

— Хорошо, ты сейчас отправишься в Сен-Пипуа, где ты нужна господину Вульфрану.

— Я не знаю дороги в Сен-Пипуа.

— Тебя отвезут туда в экипаже.

И, повернувшись к ней спиной, он крикнул:

— Эй, Гильом!

Фэзтон господина Вульфрана, который Перрина видела на дворе, подъехал к веранде.

— Эту девочку, — продолжал Талуэль, — ты сейчас же отвезешь к господину Вульфрану.

Перрина сошла с крыльца и хотела было сесть рядом с Гильомом, но тот остановил ее движением руки:

— Не сюда... сзади.

Перрина поспешила сесть на заднюю скамейку, и кучер места погнал лошадь полной рысью.

Когда они выехали из деревни, Гильом, не убавляя хода лошади, повернулся к Перрине.

— Правда ли, что вы умеете говорить по-английски? — спросил он.

— Да.

— У вас есть прекрасный случай доставить удовольствие хозяину.

— Каким образом?

— Он теперь возится с английскими механиками, которые только что приехали собирать новые машины. Сам хозяин по-английски не говорит, а те не понимают по-французски. Позвали было господина Монблэ, который будто бы говорит по-английски; но механики не понимают английского языка господина Монблэ... Монблэ злится, англичане ругаются, а хозяин из себя выходит... Потеха, да и только! Наконец, видя, что дело плохо, Монблэ сказал хозяину, что в мастерской работает одна девочка, по имени Орели, которая говорит по-английски. Ну, хозяин и послал меня за вами.

Наступила минута молчания; потом Гильом снова повернулся к Перрине.

— Знаете, если и вы говорите по-английски так же, как и господин Монблэ, то лучше вам туда и не ехать.

И кучер насмешливо улыбнулся.

— Прикажете остановить лошадь?

— Нет, поезжайте.

— Я ведь это говорю ради вас же.

— Благодарю вас.

Несмотря на свой уверенный тон, в душе Перрина все-таки сильно трусила; она знала английский язык, но кто знает, на каком английском говорят эти механики, если господин Монблэ их совсем не понимает. Кроме того, еще от отца она слышала, что неспециалисту, даже и хорошо владеющему языком, очень трудно понять значение многих технических слов, а эти механики, наверное, будут употреблять технические термины, которых она никогда и не слыхала. Что, если она не поймет механиков или подолгу будет задумываться над ответом? Не вызовет ли это гнев господина Вульфрана?

Пока Перрина раздумывала о том, что ждет ее впереди, фэзтон быстро катился вперед и уже подъезжал к Сен-Пипуа; за поворотом открылся вид на фабрики, высокие трубы которых ясно виднелись над вершинами тополей; но девочке не пришлось долго рассматривать бесконечные ряды фабричных корпусов, так как экипаж въехал за решетку и

спустя минуту остановился перед бюро.

— Пойдемте со мной! — проговорил Гильом.

Он провел ее в комнату, где находились господин Вульфран и директор фабрик в Сен-Пипуа, и, держа шляпу в руке, доложил:

— Вот девочка.

— Хорошо, ступай.

Не обращаясь к Перрине, господин Вульфран сделал знак директору нагнуться к нему и заговорил с ним шепотом; директор отвечал тоже шепотом. Но как ни была взволнована Перрина, она поняла, что разговор шел о ней; господин Вульфран спрашивал директора, какова она на вид, на что тот ответил: «Девочка лет двенадцати или тринадцати, далеко не глупая, по-видимому».

— Подойди сюда, дитя мое, — сказал господин Вульфран тем же тоном, которым он уже говорил при ней с Розали и который нисколько не походил на тот суровый голос, каким он обращался к подчиненным.

— Как тебя зовут? — спросил господин Вульфран.

— Орели.

— Кто твои родители?

— Они умерли.

— Давно ты работаешь у меня?

— Уже три недели.

— Откуда ты?

— Из Парижа.

— Ты говоришь по-английски?

— Моя мать была англичанка.

— Значит, ты знаешь английский?

— Я знаю разговорный английский язык и понимаю его, но...

— Здесь не может быть никаких но: ты или знаешь его, или не знаешь.

— Я не знаю технических слов, которые в разговоре часто употребляют ремесленники.

— Слышите, Бенуа, как толково отвечает эта девочка! — проговорил господин Вульфран, обращаясь к директору.

— Могу вас уверить, она отнюдь не кажется глупой.

— Ну, так мы, может быть, чего-нибудь и добьемся.

Он встал, опираясь на палку, и взял под руку директора.

— Иди за нами, дитя мое!

Скоро они подошли к большому, новому зданию, облицованному белыми и голубыми кирпичами; на крыльце стояли Монблэ, и Перрине показалось, что он окинул ее далеко не дружелюбным взглядом.

Все вместе они поднялись на второй этаж, где в одной из просторных комнат стояли на полу большие деревянные ящики с разноцветными надписями: «Маттер и Платте Манчестер». На одном из них сидели английские механики, судя по их виду, джентльмены. Это подало Перрине надежду, что она поймет их скорее, чем если бы они были простыми рабочими. При появлении господина Вульфрана англичане встали. Слепой обернулся к Перрине.

— Орели, скажи им, что ты говоришь по-английски и что они могут объясняться с тобой.

Перрина исполнила приказание и с радостью отметила, как прояснились нахмуренные лица механиков при первых же ее словах; правда, они обменялись лишь обычными в таких случаях фразами, но появившиеся при этом на лицах англичан радостные улыбки могли считаться хорошим знаком.

— Они прекрасно поняли, — заметил директор.

— Ну, теперь, — продолжал господин Вульфран, — спроси у них, почему они приехали на целую неделю раньше назначенного срока. Из-за этого у нас нет инженера,

который должен был бы ими руководить.

Перрина тщательно перевела эту фразу, а затем и ответ, данный одним из механиков:

— Они говорят, что, окончив установку машин в Камбрэ скорее, чем предполагали, они не стали возвращаться в Англию, а проехали прямо сюда.

— Прекрасно. У кого ставили они машины в Камбрэ?

— У братьев Авелин.

— Какого рода эти машины?

— Гидравлические.

— Вы видите, Бенуа, Авелины нас опередили, и нам нельзя терять времени. Я немедленно пошлю телеграмму к Фабри, чтобы он возвращался как можно скорее. Но пока нам надо заставить этих молодцов приняться за работу. Спроси у них, малютка, почему они сидят сложа руки?

Перрина перевела вопрос, на который старший из механиков дал пространный ответ.

— Ну, что же? — спросил господин Вульфран.

— Они говорят что-то очень непонятное для меня.

— Постарайся все же пересказать мне это.

— Они говорят, что железный пол недостаточно крепок и не выдержит тяжести их машины в сто двадцать тысяч фунтов весом.

— Не может быть! Бревна шестидесяти сантиметров вряд ли погнутся под такой тяжестью.

Перрина передала возражение, выслушала ответ и продолжала:

— Они говорят, что проверяли горизонтальность пола и оказалось, что он погнулся. Они требуют, чтобы была вычислена сила сопротивления или чтобы под пол были поставлены подпорки.

— Вычисления сделает Фабри, когда вернется, а подпорки поставят сейчас же. Скажи им это, и пусть они, не теряя времени, принимаются за работу! Им дадут в помощь рабочих, сколько там понадобится, плотников и каменщиков, а ты останешься при них и будешь передавать их требования господину Бенуа.

Перрина перевела распоряжение хозяина механикам, которые остались очень довольны, особенно когда она сказала, что останется при них переводчицей...

— Значит, ты останешься здесь, — продолжал господин Вульфран, — тебе дадут бумагу, по которой ты бесплатно поручишь комнату и стол в гостинице. Кроме того, если тобой останутся довольны, тебе выдадут денежную награду по возвращении Фабри.

## Глава XXIV

По окончании работ Перрина отправилась в гостиницу, в которой остановились механики, и заняла для себя помещение; но это уже была не жалкая каморка на чердаке, в которой она ночевала по прибытии в Марокур, а удобная, прилично меблированная комната. Так как никто из англичан не понимал и не говорил по-французски, то они попросили Перрину обедать вместе с ними, заказав по этому случаю пир, которого хватило бы на десятерых.

С каким наслаждением легла она в эту ночь спать; но лежа на настоящей постели, она долго не могла заснуть, а кома, наконец, сон все-таки смежил ее веки, то он был так беспокоеен, что девочка поминутно просыпалась.

На следующий день, рано утром, Перрина была уже на ногах и, когда прозвучал фабричный свисток, постучалась в дверь комнаты, занимаемой механиками, говоря, что пора вставать и идти на работу. Но английские рабочие на континенте любят разыгрывать из себя важных бар и не очень-то прислушиваются к свисткам и звонкам. После бесконечно долгого туалета они, наконец, вышли в общую залу, где поглотили несметное количество чашек чаю с ломтями хлеба, поджаренного в масле, и лишь после этого отправились на работу в сопровождении Перрины, все это время скромно дожидавшейся их у двери. Бедная девочка

просто в отчаяние приходила от непонятной для нее медлительности англичан и боялась, как бы господин Вульфран раньше их не попал на фабрику.

Но на фабрике ее страхи очень скоро рассеялись: господин Вульфран явился только после обеда, сопровождаемый младшим из племянников, Казимиром, которого он взял с собой, по-видимому, только для того, чтобы держать его под контролем.

— Мне кажется, что до приезда Фабри дело не пойдет на лад, — сказал юноша, окидывая презрительным взглядом помещение, в котором механики делали пока еще только подготовительные работы. — Тем более что в качестве надсмотрщика приставлена какая-то девочка.

— Если бы можно было поручить этот надзор тебе, мне не пришлось бы брать эту девочку из мотальни, — сухо заметил господин Вульфран.

Перрина молча стояла на своем месте, боясь шевельнуться, но Казимир, даже не взглянув на нее, почти тотчас же ушел, ведя под руку дядю. Оставшись, наконец, одна, она по привычке принялась обдумывать происшедшее. Господин Вульфран, правда, довольно сурово обращался со своим племянником, но зато как же сам племянник высокомерен и малосимпатичен; если они и любили друг друга, то нельзя сказать, чтобы это было особенно заметно посторонним. Но почему? Почему молодой человек так бессердечно относится к своему старому, убитому горем и болезнью дяде? Почему, наконец, сам старик так строг с одним из тех, кого он взял к себе вместо сына?

Она так глубоко задумалась над этими вопросами, что не услышала, как директор два раза громко позвал ее:

— Орели! Орели!

Но так как она не отзывалась и не трогалась с места, то директор в третий раз крикнул:

— Орели!

Перрина, только теперь сообразившая, кого зовут, опрометью бросилась в соседнее отделение.

— Ты разве глухая? — спросил Бенуа.

— Нет, сударь, я слушала приказания механиков.

— Подождите меня в конторе, Бенуа, я скоро приду туда, — сказал господин Вульфран директору.

Когда Бенуа ушел, старик обратился к Перрине:

— Умеешь ты читать, дитя мое?

— Да, сударь.

— Ты можешь читать по-английски?

— Как и по-французски, сударь, мне все равно, на каком языке ни читать.

— А сумеешь ли ты, читая по-английски, переводить это на французский язык?

— Если не будет ничего особенного, сударь, то, конечно, могу.

— Например, газеты?

— Этого я никогда не пробовала: если мне и приходилось читать английскую газету, то мне не надо было переводить ее самой себе, я и без того понимала, что читала.

— Если ты понимаешь, то можешь, значит, и перевести.

— Думаю, что могу, сударь, хотя и не уверена.

— Ну, мы попробуем, пока механики работают; но сначала предупреди их, что они могут позвать тебя, если ты им понадобишься. Ты попробуешь перевести мне в этой газете те статьи, которые я тебе укажу! Поди скажи им и возвращайся обратно.

Исполнив это, Перрина вернулась и села подле господина Вульфрана; тот протянул ей газету *«Вестник Денди»*.

— Что мне читать? — спросила она, разворачивая газету.

— Найди коммерческий раздел.

Перрина погрузилась в длинные черные столбцы, непрерывной вереницей следовавшие один за другим; у нее дрожали руки от страха, что она не справится с этой новой для нее работой и дело кончится тем, что господин Вульфран выйдет, наконец, из терпения и отчитает ее за нерасторопность.

Но старик, со свойственной слепым тонкостью слуха, угадал ее волнение по дрожанию газеты и постарался ее успокоить.

— Не спеши, времени у нас довольно. Впрочем, ты, должно быть, никогда еще и не читала коммерческий раздел.

— Нет, сударь.

И она опять принялась пробегать газету столбец за столбцом. Вдруг у нее невольно вырвалось радостное восклицание.

— Нашла?

— Кажется.

— Теперь поищи рубрику: «*Лен, конопля, джут, мешки, канаты*».

Перрина отыскала нужную рубрику и начала перевод, казавшийся ей необыкновенно медленным, с колебаниями запинками, хотя господин Вульфран, напротив, казался весьма довольным.

— Этого достаточно: я понимаю. Продолжай.

И она продолжала, возвышая голос, когда механики заглушали его ударами своих молотков.

Так она благополучно добралась до конца.

— Теперь поищи, нет ли известий из Калькутты?

Перрина стала искать.

— Да, вот: «От нашего специального корреспондента».

— Это самое. Читай!

— «Известия, полученные нами из Дакка»... — начала Перрина, и вдруг голос ее дрогнул.

Это не укрылось от господина Вульфрана.

— Отчего ты дрожишь? — спросил он.

— Я, право, не знаю, вероятно, это от волнения.

— Я ведь сказал тебе, чтобы ты не волновалась, то, что ты делаешь, гораздо лучше того, что я ожидал.

Перрина сделала перевод корреспонденции из Дакка, сообщавшей о сборе джута на берегах Брамапутры; после этого господин Вульфран велел ей поискать в *Морских известиях*, не найдет ли она телеграммы с пометкой «Св. Елена».

— Saint-Helena английское слово, — заметила она и снова принялась искать.

Наконец, имя Saint-Helena бросилось ей в глаза.

— Двадцать третьего прошел английский корабль «*Альма*» из Калькутты в Денди, а двадцать четвертого — норвежский корабль «*Грюндловен*» из Нарайнгауди в Булонь.

— Отлично, — сказал господин Вульфран, — я доволен тобой.

Перрине хотелось бы ответить, но, боясь, чтобы голос не выдал ее радостного волнения, она промолчала.

Старик продолжал:

— Я вижу теперь, что до выздоровления бедняги Бэндита смогу пользоваться твоими услугами.

После этого она должна была рассказать ему, что именно сделано механиками, и передать последним его приказ поспешить с работами насколько возможно. Затем господин Вульфран поднялся и сказал Перрине, чтобы она проводила его в бюро директора.

— Вы позволите мне взять вас под руку?

— Конечно, дитя мое, иначе как же ты поведешь меня; только, пожалуйста, предупреждай меня, если на дороге встретится какое-нибудь препятствие; веди меня осторожно, не торопись.

— О, будьте покойны, сударь!

Перрина почтительно взяла господина Вульфрана за левую руку, так как в правой он держал трость, которой ошупывал дорогу.

Едва они вышли из мастерской, как перед ними оказалось полотно фабричной железной дороги, испещренное рельсами, о чем Перрина сочла себя обязанной предупредить слепого.

— Знаю, — отвечал он, — я хорошо сохранил в памяти план завода; ты меня предупреждай о чем-нибудь необыкновенном или неожиданном.

Оказалось, что господин Вульфран знал не одно только расположение своих фабрик, но отлично помнил и узнавал всех служащих; когда он проходил по мастерским, рабочие кланялись ему, снимая шапку и называя по имени:

— Здравствуйте, господин Вульфран.

И в большинстве случаев, по крайней мере, при встрече со старыми рабочими, он тоже отвечал: «Здравствуй, Жак» или «Здравствуй, Паскаль», что доказывало, что ухо его не забывало их голоса. В тех случаях, когда память изменяла ему, что, впрочем, бывало очень редко, он останавливался и, называя имя рабочего, говорил:

— Разве это не ты?

Медленно продвигаясь вперед, они, наконец, подошли к бюро, и здесь старик отпустил Перрину, проговорив:

— До завтра.

## Глава XXV

Когда на другой день господин Вульфран вместе с директором вошел в мастерскую, Перрина была занята передачей инструкций старшего механика помогавшим ему рабочим: каменщикам, плотникам, кузнецам и слесарям. Отчетливо, без колебаний и повторений переводила она слова англичанина и передавала ему вопросы французских рабочих.

Господин Вульфран медленно приблизился к работающим, и голоса в ту же минуту смолкли; но слепой старше махнул палкой, давая знак не обращать на него внимания, и все опять пришло в движение.

— Знаете ли, Бенуа, — слегка наклонясь к директору, говорил господин Вульфран, — из этой девочки вышел бы прекрасный инженер.

— Необыкновенно развитая девочка, — вполголоса отвечал директор.

Слова эти, хотя и сказанные очень тихо, долетели до слуха Перрины, и сердце ее забило сильнее.

— Поверите ли, вчера она переводила мне «*Вестник Денди*» ничуть не хуже Бэндита, хотя ей в первый раз в жизни пришлось читать коммерческий раздел газеты.

— Вам неизвестно, кто ее родители?

— Талуэль, вероятно, знает, а я — нет.

— Только она, по-видимому, страшно бедствует.

— Я назначил ей пять франков на стол и квартиру.

— Я говорю про ее одежду: кофта ее превратилась в сплошное кружево; а такую юбку, как у нее, я видел только у цыганок; на ногах у нее туфли, которые она, должно быть, сама себе смастерила.

— А какое у нее лицо, Бенуа?

— Умное, честное, выражение глаз кроткое и мягкое.

— Откуда она попала к нам?

— Не знаю, только она не здешняя.

— Она сказала мне, что мать ее была англичанкой.



— Она совсем не похожа на тех англичан, которых мне приходилось видеть. Нет, у нее другое лицо, совсем другое. Еще она положительно красива, а ее нищенское одеяние еще больше подчеркивает ее природную красоту. В ней, знаете ли, есть что-то властное, какая-то природная самостоятельность. Послушайте, как она командует нашими рабочими и они ее слушаются, несмотря на ее лохмотья.

Хотя до Перрины доносились только отдельные фразы, но и то, что удалось ей расслышать, настолько поразило и в то же время обрадовало ее, что она с трудом могла побороть свое волнение. Ей очень хотелось слушать, слушать без конца разговор директора с хозяином, но ей также нужно было слушать и то, что говорили рабочие и механики. Что подумал бы господин Вульфран, если бы вдруг она сказала какую-нибудь глупость, которая выдала бы ее невниманию?

К счастью, ее роль переводчицы скоро кончилась, и она могла на некоторое время считать себя свободной. В ту же минуту господин Вульфран позвал ее:

— Орели!

На этот раз Перрина поспешила отозваться на имя, которым она заменила свое собственное.

Как и накануне, господин Вульфран посадил ее возле себя и передал ей для перевода «Отчет Дендийского торгового товарищества». Перрина должна была перевести весь отчет от начала до конца.

Когда перевод был окончен, господин Вульфран, как и накануне, приказал девочке вести его по фабричным помещениям.

— Ты сказала мне, что потеряла мать. Давно это произошло? — идя по двору, спросил старик.

— Пять недель тому назад.

— В Париже?

— В Париже.

— А твой отец?

— Я лишилась его полгода тому назад.

Старик почувствовал, как при этих словах задрожала рука девочки в его руке; очевидно, она не только на словах любила своих близких, и воспоминание о них вызвало в ней волнение, которого она не могла побороть.

— Чем занимались твои родные? — продолжал господин Вульфран, в котором загадочная девочка пробудила любопытство.

— У нас была повозка, и мы торговали.

— В окрестностях Парижа?

— Нет, в разных странах; мы путешествовали.

— А когда умерла твоя мать, ты покинула Париж?

— Да, сударь.

— Почему?

— Умирая, мама взяла с меня обещание, что я не останусь в Париже, когда ее не станет, а отправлюсь на север, к родным моего отца.

— Так зачем же ты пришла сюда?

— Когда мама умирала, нам пришлось продать все, что у нас было ценного; все эти деньги ушли на ее лечение. После похорон у меня в кармане осталось всего пять франков тридцать пять сантимов, а с этими деньгами нечего было и думать ехать по железной дороге. Тогда я решила идти пешком.

Господин Вульфран как-то особенно зашевелил пальцами.

— Простите меня, сударь, я, кажется, надоела вам...

— О, нет, дитя мое! Напротив, я очень доволен, что ты храбрая девочка; я люблю людей с твердым характером, храбрых, решительных, таких, которые не поддаются отчаянию, и если мне доставляет удовольствие встречать эти качества у мужчин, то тем приятнее их находить в ребенке твоего возраста. Итак, значит, ты отправилась в путь, имея

всего сто семь су в кармане...

— Нож, кусок мыла, наперсток, две иголки, нитки и дорожную карту, — уточнила его Перрина.

— Ты умеешь ориентироваться по карте?

— Поневоле пришлось этому научиться, разъезжая по большим дорогам... Это все, что мне удалось спасти из нашей повозки.

Он перебил ее:

— Тут направо должно быть большое дерево...

— Да, сударь, со скамейкой вокруг него.

— Пойдем туда; нам будет лучше на скамейке.

Когда они уселись, Перрина продолжала свой рассказ, не стараясь уже больше сокращать его, так как видела, что он интересен господину Вульфрану.

— Тебе не пришло в голову просить милостыню? — спросил слепой, когда она дошла в рассказе до выхода из леса, где на нее обрушилась гроза.

— Нет, сударь, никогда.

— На что же ты рассчитывала?

— Ни на что: я надеялась, что, продолжая все идти вперед, пока у меня хватит сил, я, может, и спасусь; только когда силы меня совершенно покинули, я впала в отчаяние, потому что не могла этого вынести; если бы я ослабела часом раньше, то, наверно, погибла бы.

Потом Перрина рассказала, как пришла в себя, как к ней пришла на помощь торговка тряпками, и, наконец, коротко рассказав о времени, проведенном с Ла-Рукери, перешла к своей встрече с Розали.

— Из разговора с ней я узнала, что на ваших фабриках дают работу всем желающим, и решила попытать счастья; меня приняли и назначили в мотальню.

— Когда же ты пойдешь дальше?

Она не ожидала этого вопроса и на минуту смешалась.

— Да я и не думаю уходить отсюда, — после короткого раздумья отвечала она.

— А твои родные?

— Я их не знаю; я даже не уверена, примут ли они меня, потому что они были в ссоре с моим отцом. Я шла к ним только потому, что больше мне не у кого было просить защиты; но раз я нашла здесь работу, мне кажется, что самым лучшим для меня будет здесь и остаться. Куда я денусь, если они меня не примут? Идти искать новых приключений я боюсь, а здесь, я знаю, не умру с голода.

— А эти родные справлялись о тебе когда-нибудь?

— Никогда.

— В таком случае ты поступаешь очень благоразумно. Но если ты не хочешь идти наудачу, не зная, как тебя примут, и боясь остаться на улице, тебе все-таки следовало бы написать своим родным. Кто знает, дитя, быть может, они будут счастливы принять тебя и встретят с радостью; тогда ты найдешь там семью и поддержку, которых у тебя не будет, если ты останешься здесь; а ведь ты, я думаю, и теперь уже знаешь, как тяжело живется сиротке-девочке твоих лет.

— Да, сударь, очень тяжело, и уверяю вас, что, если бы я нашла открытые объятия, я с радостью бросилась бы в них; но если они отнесутся ко мне так же, как относились к моему отцу...

— Разве твои родные имели серьезные Причины быть недовольными твоим отцом?

— Не знаю... Отец мой был таким добрым, нежным, так любил всех, так горячо любил маму и меня, что я не пони маю, чем он мог навлечь на себя такой гнев семьи.

— Вероятно, для этого была какая-нибудь серьезная причина: но ведь, что бы они ни имели против него, не могут же они поставить в вину тебе; дети не отвечают за проступки своих родителей.

— О, если бы это было так!

Она произнесла эти слова таким взволнованным голосом, что господин Вульфран был

поражен.

— Ты сама видишь, как в глубине сердца ты мечтаешь быть принятой ими.

— Но я так боюсь, что они оттолкнут меня.

— Вряд ли это случится. Скажи мне, у твоих дедушки и бабушки были еще дети, кроме твоего отца?

— Нет.

— Почему же ты думаешь, что они не будут счастливы принять тебя вместо сына, которого уже нет в живых? Ты едва ли знаешь, как тяжело жить на свете одиноким!

— О, как хорошо я знаю это...

— Одинокость юности, у которой впереди вся жизнь, вовсе не похоже на одиночество старости, у которой впереди только могила.

Перрина все время следила за выражением лица своего собеседника.

— Ну, — продолжал слепой после короткого молчания, — как же ты думаешь решить?

— Не подумайте, сударь, что я колеблюсь: волнение не дает мне говорить. Ах, если бы я могла быть уверена, что меня примут, как дочь, а не оттолкнут, как чужую!

— Дитя, ты совсем не знаешь жизни. Помни одно: что старость еще больше, чем детство, не может оставаться в одиночестве.

— Разве все старики думают так же, сударь?

— Если они этого не думают, то чувствуют.

— Вы думаете? — проговорила она, не отрывая от него глаз, вся дрожа.

— Да, они это чувствуют... — как бы про себя пробормотал он.

Потом, словно желая отогнать от себя тягостные мысли, слепой вдруг поднялся и своим обычным тоном сказал:

— В бюро.

## Глава XXVI

Когда вернется Фабри?

Вопрос этот беспрестанно задавала себе Перрина, так как с приездом инженера должна была кончиться ее роль переводчицы при англичанах.

А затем, когда приедет Фабри и поправится Бэндит, будет ли она продолжать свои занятия у господина Вульфрана? Второй вопрос был, пожалуй, поважнее первого.

В четверг утром, придя на работу вместе с англичанами, Перрина увидела в мастерской Фабри, осматривавшего произведенные во время его отсутствия работы; она скромно отошла в угол, не рискуя вмешиваться в беседу инженера с механиками, как вдруг старший из них сказал, указывая на нее:

— Хорошо еще, что нам дали эту девочку в помощь, а то мы до сих пор сидели бы сложа руки.

Фабри внимательно посмотрел на Перрину, но не успел ничего ответить, потому что в эту минуту вошел господин Вульфран в сопровождении директора; последний сейчас же начал докладывать ему о положении работ и о замечаниях, сделанных инженером; но хозяин, по-видимому, остался не совсем доволен данными ему объяснениями и с раздражением проговорил:

— Досадно, что здесь нет этой девочки!

— Она здесь, — отозвался директор и сделал Перрине знак подойти.

— Почему же ты осталась здесь, а не вернулась в Марокур? — спросил господин Вульфран.

— Я думала, что не имею права уходить отсюда без вашего приказанья, — ответила Перрина.

— И ты права; ты всегда должна быть здесь, когда я прихожу.

Он остановился на минуту, как бы в раздумье, а затем продолжал:

— Впрочем, ты будешь мне нужна и в Марокуре. Ступай туда сегодня вечером, а завтра утром приходи в бюро; там я скажу, что ты будешь делать.

Когда Перрина перевела его приказания механикам, он ушел и больше не возвращался; чтения газет в этот день не было.

Ну, так что же? Стоит ли думать о сегодняшней неудаче, когда будущее у нее обеспечено. Ведь он сам сказал ей: «Ты мне будешь нужна и в Марокуре».

Так рассуждала Перрина, шагая по дороге, которой она проезжала уже раз в экипаже вместе с Гильомом, направляясь в Сен-Пипуа. Что она там будет делать? Тысячи предположений появлялись у нее, но она ни на чем не остановилась. Одно только было ей ясно, что в мастерскую она больше не вернется. Каждый новый день теперь будет все больше приближать ее к цели, которую завещала ей умирающая мать; надо только действовать так же осторожно, как и прежде, ничего не ускоряя и стараясь в то же время быть достойной внимания тех, мнением которых она дорожит.

Размышляя таким образом, Перрина незаметно дошла до Марокура, изредка останавливаясь, чтобы сорвать какой-нибудь красивый цветок или полюбоваться чудным видом на луга и озера. Не раз от нетерпения она готова была пуститься бегом, но сейчас же сдерживала себя и даже нарочно замедляла после этого шаг. К чему опешить? Раз и навсегда надо взять за правило никогда не поддаваться первому впечатлению и действовать всегда строго обдуманно.

Остров свой она нашла в том же состоянии, в каком его и оставила. Все ее драгоценности были целы и лежали на своих местах, а крыжовник так созрел, что к ужину у нее получился превосходный десерт.

После ужина, в ожидании наступления ночи, Перрина вышла из шалаша и уселась на берегу в камышах. Не много дней она отсутствовала, а какие за это время произошли перемены! Теперь уже не было той таинственной тишины, так поражавшей ее в первые дни жизни на островке, когда безмолвие ночи нарушалось только криками запоздалых птиц да шелестом камыша и листьев, потревоженных легким ночным ветерком. Еще днем, возвращаясь из Сен-Пипуа, Перрина видела, что на лугах начался сенокос, и из долины до нее доносились тысячи разнородных звуков: лязг кос, скрип колес, ржание лошадей, хлопанье бичей и гул людских голосов. Скоро, скоро косари дойдут и до ее прудочка, и тогда прощай ее уютное гнездышко! Перрине придется его покинуть. Но какая бы ни была для этого причина — сенокос или охота, не все ли равно? Так или иначе, ей придется искать себе другое убежище.

Как ни печальны были ее мысли, они не помешали ей крепко уснуть на своей скромной постели из папоротника и проснуться только тогда, когда уже взошло солнце...

Едва прозвучал третий свисток, Перрина была уже около решетки, раздумывая, идти ли ей прямо в бюро или подождать во дворе.

Она выбрала последнее и около часа простояла у дверей. Наконец, показался Талуэль, который своим обычным грубым тоном спросил ее, что она здесь делает.

— Господин Вульфран приказал мне прийти сегодня утром в бюро.

— Двор не бюро.

— Я жду, когда меня позовут.

— Ступай за мной.

Перрина поднялась вслед за директором. Взойдя на веранду, Талуэль сел верхом на стул и движением руки подозвал к себе девочку.

— Что ты делала в Сен-Пипуа?

Она рассказала, в чем заключалась ее обязанность.

— Значит, господин Фабри приказал что-нибудь не так?

— Я не знаю.

— Как же это ты не знаешь? Разве ты не поняла, что говорилось при тебе?

— Конечно, нет.

— Вздор! Ты просто не хочешь говорить. Не забывай только, кто ты; тебя спрашивает! Ты знаешь, кто я такой?

— Директор.

— Иначе говоря, хозяин. Через мои руки проходит все, и поэтому я должен все знать; тех же, кто меня не слушается, и выгоняю. Помни это!

Теперь перед Перриной был тот именно человек, о котором говорили при ней работницы на чердаке: жестокий хозяин, тиран, притеснявший рабочих и желавший быть главным на фабриках не только в Мароуре, но и в Сен-Пипуа, в Бауре, во Флекселле — везде.

— Я тебя спрашиваю, какую глупость сделал господин Фабри? — продолжал он, понижая голос.

— Я не могу вам этого сказать, потому что не знаю сама; но я могу повторить вам распоряжения господина Вульфрана, которые я переводила англичанам.

И Перрина слово в слово повторила слова господина Вульфрана.

— Это все?

— Все.

— Господин Вульфран заставлял тебя переводить письма?

— Нет, сударь, я переводила только газетные статьи.

— Но помни раз навсегда! Мне надо говорить правду, и только правду, иначе я все равно узнаю, и тогда... прощай!

И он сделал в воздухе жест рукой, чтобы еще больше подчеркнуть значение последнего слова, которое Перрина и без того понимала очень хорошо.

— Отчего же мне и не говорить правду?

— Теперь я тебя только предупреждаю.

— Я буду это помнить, сударь, обещаю вам.

— Прекрасно. А теперь походи и сядь вон на ту скамейку. Если ты понадобишься господину Вульфрану, то он, конечно, вспомнит, что велел тебе прийти.

Больше двух часов просидела Перрина на этой скамейке, боясь пошевелиться, — так напугал ее сердитый директор, — хотя и старалась делать вид, что все эти расспросы она считает делом совершенно естественным. Чего от нее хотел Талуэль, — угадать было не трудно! Он просто-напросто желал сделать из нее шпионку при хозяине, которая станет передавать ему все, что узнает, и даже рассказывать содержание писем, если ей придется их переводить.

Привлекательного в этом было очень мало, и роль, которую ей хотели навязать, даже пугала Перрину. Но в словах директора было и нечто хорошее: он, очевидно, знал или имел основания предполагать, что ей придется переводить письма и таким образом заменить при господине Вульфране мистера Бэндита, пока тот болен.

Наконец, появился Гильом, кроме обязанностей кучера исполнявший еще и должность рассыльного при господине Вульфране, и повел ее в бюро, где она увидела хозяина, сидевшего за большим столом, заваленным связками бумаг; каждая отдельная кипа прикрывалась сверху пресс-папье с выпуклой буквой, чтобы рука могла узнавать их на ощупь; один конец стола был занят электрическими приборами и телефоном.

Не докладывая, Гильом ушел, притворив за собой дверь. Подождав с минуту, Перрина решила, что должна сообщить господину Вульфрану о своем присутствии.

— Это я, Орели, — робко проговорила она.

— Я узнал твою походку. Подойди и выслушай меня. Твой рассказ о том, что ты перенесла, а также твоя энергия вызвали у меня интерес к твоей судьбе. Потом за это время я успел убедиться, что ты не глупа. С тех пор, как болезнь лишила меня зрения, мне необходим человек, который видел бы за меня и, кроме того, умел бы видеть то, что я ему укажу, и объяснить мне то, что сам заметит. Я думал найти это в Гильоме, но он не оправдал моего доверия. Хочешь ты занять возле меня место, которого не сумел занять Гильом? Для

начала ты будешь получать девяносто франков в месяц и наградные, если, как я надеюсь, я буду доволен тобой.

Задыхаясь от радости, Перрина ничего не ответила.

— Ты молчишь?

— Я ищу слова, чтобы поблагодарить вас, но я так взволнована, так смущена, что не могу даже говорить... Не думайте...

Он перебил ее:

— Не волнуйся, дитя... Я вижу, что не ошибся в тебе, и это меня радует. Теперь скажи мне: писала ты к своим родным?

— Нет еще, сударь, я не могла, у меня не было бумаги...

— Хорошо, хорошо! Теперь тебе можно будет это сделать. В бюро мистера Бандита, в котором ты будешь заниматься до его выздоровления, ты найдешь все, что тебе будет нужно. Напиши своим родным, какое ты теперь занимаешь положение в моем доме, и если они предложат тебе что-нибудь лучшее, то поезжай к ним.

— Позвольте мне остаться здесь.

— Я сам думаю, что теперь это для тебя, пожалуй, гораздо лучше. Прежде всего надо прилично одеть тебя; Бенуа говорил мне, что твоя одежда сильно поношена, а если ты будешь постоянно при мне, то нельзя же тебе ходить в рубище.

— О, сударь, уверяю вас, что в этом я не виновата.

— Не оправдывайся! Ты отправишься в кассу, где тебе дадут марку, по которой ты можешь взять у мадам Лашез все, что тебе нужно: одежду, белье, шляпу, обувь.

Перрина молча слушала, и ей казалось, что вместо слепого старика с суровым лицом она видит перед собой прекрасную фею с волшебным жезлом в руке.

Голос господина Вульфрана вернул ее к действительности:

— Ты можешь выбирать себе все, что хочешь, но помни, твой выбор даст мне возможность определить и твой характер. На сегодня ты мне больше не нужна. До завтра.

## Глава XXVII

В кассе, куда Перрина отправилась после разговора с хозяином, ее встретило несколько пар любопытных глаз. Получив марку, она покинула фабрику, раздумывая, кто такая эта мадам Лашез, к которой ей теперь нужно идти.

Перрина была бы очень рада, если бы эту фамилию носила хозяйка того магазинчика, где она уже покупала себе коленкор на рубашку: там она не была бы совсем незнакомой и даже могла бы посоветоваться с доброй старушкой относительно выбора покупок.

А вопрос этот нужно было обсудить хорошенько, особенно после слов господина Вульфрана. Положим, она и сама не выбрала бы себе какого-нибудь слишком бросающегося в глаза туалета, но если костюм будет слишком скромный, кто знает, как взглянет на это господин Вульфран и не подумает ли он, что она взяла его только потому, что не сумела выбрать ничего лучшего. В детстве у нее бывали и очень хорошенькие платьица, в которые так любила ее наряжать покойная мать; но теперь, конечно, нельзя было и думать о чем-нибудь подобном, хотя опять-таки неизвестно, какой именно костюм должна она иметь: просто ли скромный, или же при этом еще и самый дешевый?

Мадам Лашез жила на Церковной площади, и магазин ее считался самым лучшим во всем Марокуре. В витринах, на соблазн прохожим, была заманчиво выставлена материя с всевозможными узорами, один лучше другого, кружева, ленты, шляпы, различные безделушки, которыми так любят украшать себя женщины; тут же на полочках симметрично расставлены были флакончики с духами и косметические принадлежности.

Обстановка внутри магазина еще больше увеличила смущение Перрины, и она

несколько минут простояла в нерешительности, не зная, к кому ей обратиться; девочка в лохмотьях не могла быть желанной покупательницей, и хозяйка магазина, как и остальные мастерицы, точно не замечали ее. Наконец, чтобы привлечь их внимание, она приподняла немного руку, в которой держала конверт.

— Что тебе надо, девочка? — спросила тогда мадам Лашез.

Перрина молча подала ей конверт, на котором сверху было напечатано: «Марокурские фабрики. Вульфран Пендауан».

Едва успела мадам Лашез вскрыть конверт, как лицо ее вдруг осветилось самой приветливой улыбкой.

— Что же вам угодно, барышня? — спросила она, вставая из-за конторки и подвигая ей стул.

Перрина ответила, что ей нужно платье, белье, обувь, шляпа.

— Все это у нас есть и к тому же первого сорта. Не желаете ли вы начать с платья? Да, не так ли? Я покажу вам материю, и вы извольте выбрать.

Но Перрина отказалась выбирать материю, сказав, что ей нужно готовое черное платье, так как она носит траур.

— Это платье вам нужно для похорон?

— Нет.

— Поймите же, барышня, что если платье нужно вам для выездов, то и фасон его, и материя, и цена должны быть подходящими для этой цели.

— Материя прочная и легкая, фасон самый простой, а цена самая дешевая.

— Хорошо, хорошо, — проговорила хозяйка, — вам покажут. Виржини, займитесь барышней!

Это было сказано уже совсем другим тоном, и мадам Лашез с достоинством заняла свое место за конторкой, не желая лично заниматься покупательницей, предъявлявшей такие скромные требования.

Когда показалась Виржини, неся в руках кашемировое платье, отделанное кружевами и стеклярусом, она остановила ее:

— Это не подойдет по цене; покажите юбку с блузой из черного кретона.

— Юбка будет немного длинна, а блуза немного широка, но если присобрать и подшить, все будет прекрасно; впрочем, у нас нет ничего другого.

Но Перрина была не взыскательна и нашла юбку и блузу очень миленькими, тем более что хозяйка и Виржини уверяли ее, что после переделки костюм будет сидеть на ней прекрасно.

Чулки и рубашки выбрать оказалось гораздо легче, но когда Перрина сказала, что возьмет всего только две пары чулок и две рубашки, Виржини стала относиться к ней с таким же пренебрежением, как и ее хозяйка, и только из милости соизволила показать башмаки и черную соломенную шляпу, дополнявшие туалет этой маленькой дурочки. Даже когда Перрина спросила три носовых платка, эта новая покупка не изменила отношения хозяйки и Виржини к покупательнице.

— Что же, прислать вам все это? — спросила мадам Лашез.

— Благодарю вас, сударыня, я приду за этими вещами сегодня вечером.

— Не раньше восьми и не позже девяти часов.

Перрина не хотела, чтобы ей присылали покупки, потому что сама хорошо не знала, где проведет эту ночь. На островке оставаться больше уже было нельзя: бедняки, которым нечего беречь, могут, конечно, обходиться без дверей и замков, но люди богатые, — как бы себе там ни смотрела мадам Лашез на Перрину, — не могут жить в тех же условиях: богатство, в чем бы оно ни заключалось, нужно хранить. Вот почему, выйдя из магазина, Перрина напрямик направилась к дому тетушки Франсуазы, чтобы потолковать с Розали, нельзя ли будет снять у ее бабушки маленькую отдельную комнатку за небольшую цену.

Подходя к калитке, Перрина увидела Розали, быстрыми шагами выходящую на улицу.

— Вы уходите?

— А вы, значит, свободны?

Розали должна была идти в Пиккиньи по срочному поручению и, как бы ей того ни хотелось, не могла вернуться к бабушке, чтобы помочь подруге договориться насчет комнатки. Но так как у Перрины целый день был свободен, то Розали предложила ей идти вместе в Пиккиньи, обещая по возвращении найти ей уголок в их доме.

— Подумайте только, какая у нас с вами будет прогулка! — прибавила она.

Перрина согласилась, и подруги, весело болтая, зашагали в Пиккиньи. Исполнив поручение, они отправились гулять, бродили по лугам и лесам и только к вечеру вернулись в Марокур. Подходя к дому, Розали вдруг посерьезнела и тревожно проговорила:

— Что-то скажет теперь тетя Зенобия?

— Разозлится!

— Ну, не беда! Мне было очень весело. А вам?

— Если вам было весело, то мне тем более! У вас есть родные и знакомые, с которыми вы можете разговаривать, а я постоянно одна... Для меня наша прогулка была настоящим праздником.

— Очень рада.

К счастью, тетя Зенобия была занята в общей столовой, и Перрине пришлось заключать сделку с самой бабушкой Франсуазой; за двенадцать франков в месяц добрая старушка уступила ей комнатку с одним окном, украшенную небольшим туалетным столиком с зеркальцем, а за обед и ужин взяла только пятьдесят франков.

В восемь часов Перрина пообедала одна за своим столиком в общей столовой, а в половине девятого отправилась в магазин за вещами; возвратившись домой ровно в девять часов, она сейчас же решила лечь спать, чтобы пораньше встать завтра, и с каким-то особенным наслаждением повернула ключ в замке, запирая на ночь свою маленькую комнатку. Настоящее было так хорошо, что в этот день Перрина даже и не думала о грядущем: пусть будет что будет.

Когда на другой день она вошла в кабинет господина Вульфрана, ее поразило и сильно смутило строгое выражение лица слепого; видно было, что он чем-то сильно недоволен. Но чем же? Что сделала она дурного, за что можно было бы ее упрекнуть?

Но ей не пришлось долго раздумывать над этим, так как господин Вульфран заговорил:

— Почему ты не сказала мне правды?

— О чем же я не сказала? — испуганно спросила она.

— О том, что ты делала со времени своего прибытия сюда?

— Но уверяю вас, сударь, что я сказала вам правду.

— Ты сказала мне, что жила у Франсуазы. А уйдя от нее, где ты была? Предупреждаю тебя, что Зенобия, дочь Франсуазы, у которой о тебе расспрашивали, сказала, что ты провела всего только одну ночь у ее матери, а затем исчезла, и никто не знает, что ты делала с тех пор.

Перрина слушала начало этого допроса с волнением, но теперь у нее отлегло от сердца.

— Один человек знает, где я была с тех пор, как покинула комнатку тетушки Франсуазы.

— Кто?

— Розали, ее внучка, которая может подтвердить вам то, что я сейчас скажу, если вы находите необходимым знать все, что я делала...

— Место, на которое я предназначаю тебя, требует, чтобы я знал о тебе все.

— Извольте, сударь, я вам это скажу. Если вы захотите это проверить, то пошлите за Розали и раньше, чем я увижусь с ней, расспросите ее, правду ли я вам сказала.

— Да, пожалуй, так можно сделать, — сказал он гораздо мягче. — Ну, так рассказывай.

Перрина начала свой рассказ с ночи в ужасной каморке.



— Разве ты не могла выносить того, что выносят другие?  
— Другие, вероятно, не жили так много на свежем воздухе, как я, потому что, уверяю вас, я вовсе не неженка и нищета научила меня переносить все... А там я просто задохнулась бы от недостатка воздуха.

— Разве комнатка Франсуазы так вредна для здоровья?

— Ах, сударь, если бы вы могли ее видеть, вы не позволили бы вашим работницам жить в ней.

— Продолжай.

Перрина перешла к открытию острова, к мысли поселиться в шалаше.

— Ты разве не боялась?

— Я привыкла не бояться.

— Ты говоришь о последнем прудке, по дороге в Сен Пипуа, налево?

— Да, сударь.

— Этот шалаш принадлежит мне, и им пользуются мои племянники. Итак, значит, ты там спала?

— Не только спала, но работала, ела, даже угощала однажды обедом Розали, которая может вам об этом рассказать; я ушла из шалаша только тогда, когда пришлось ехать в Сен Пипуа, где вы приказали мне остаться переводчицей при англичанах, а сегодня ночью я опять ночевала у тетушки Франсуазы, где наняла теперь отдельную комнату.

— Значит, ты богата, если можешь угощать обедом подругу?

— Если бы я смела вам рассказать...

— Ты должна все рассказать мне.

— Имею ли я право занимать ваше время своей болтовней?

— С тех пор, как я ослеп, время для меня уже не имеет прежней цены; оно кажется мне длинным, очень длинным... и пустым.

Перрина увидела, как облако грусти промелькнуло по лицу господина Вульфрана, и в ту же минуту у ней пропал всякий страх; сердце ее переполнилось глубокой жалостью к этому старику, которого посторонние считали столь счастливым, столь щедро наделенным всеми земными благами.

И веселым голосом она начала:

— Но гораздо интереснее самого обеда тот способ, которым я раздобыла кухонную посуду, и способ, которым я достала провизию, не имея ни одного су в кармане. Об этом, если позволите, я и расскажу вам сначала, чтобы вы могли ясно представить себе, как я жила в шалаше все это время.

На протяжении всего рассказа Перрина не спускала глаз со своего слушателя и с радостью видела, что болтовня ее вызывает вовсе не скуку, а, напротив, скорее любопытство и интерес.

— Ты это сделала! — прерывал он ее несколько раз.

Когда она добралась до конца своей истории, господин Вульфран положил ей руку на голову.

— Ты славная девочка, — сказал он, — и я с радостью вижу, что из тебя можно будет что-нибудь сделать. Теперь ступай в свое бюро и займись чем хочешь; в три часа мы поедем.

## Глава XXVIII

Бюро мистера Бэндита и по размерам и по обстановке очень сильно отличалось от кабинета самого господина Вульфрана. Кабинет хозяина с первого же взгляда говорил посетителю, что здесь, если можно так выразиться, решаются судьбы всех мароккурских фабрик. Три громадных окна давали много света; всевозможные столы, начиная от большого письменного посередине комнаты, были завалены несметным количеством папок и

портфелей; у столов стояли высокие кресла, обтянутые зеленым сафьяном, а по стенам развешаны были в деревянных золоченых рамах планы марокурских фабрик.

Совсем не то представляло из себя бюро мистера Бэндита. Это была маленькая комнатка, где стоял стол и два стула; по стенам с одной стороны были прикреплены полки для бумаг, а с другой — висела географическая карта, на которой крошечные, различных цветов флаги обозначали основные навигационные пути. Единственное окно смотрело на юг и, несмотря на джутовую штору с красными рисунками, в комнате было очень светло; гладко лоснящийся паркет блестел, как зеркало. Перрине очень понравилось маленькое, уютное бюро, такое чистое и веселое. Отворив дверь, она могла видеть, а иногда и слышать, что делается в кабинете господина Вульфрана, видеть и его племянников, и бюро счетоводства и кассы, откуда доносилось щелканье косточек на счетах и металлический звон золота и серебра. Прямо напротив помещалось бюро инженера Фабри, где техники, стоя перед высокими, наклонными столами, составляли чертежи различных машин для фабрик.

От нечего делать Перрина принялась рассматривать словари, единственные книги, составлявшие библиотеку маленького бюро, но это занятие очень скоро надоело ей. Когда послышался звонок, разрешающий всему фабричному персоналу идти завтракать, обрадованная Перрина вышла одной из первых.

В общей столовой тетушки Франсуазы ясно обозначилась разница в положении Перрины по сравнению с остальными служащими: прибор ее стоял на отдельном маленьком столике в углу залы, и кушанья подавались лишь после того, как самые лакомые кусочки были взяты с блюд теми, кого хозяйка считала вправе выбирать.

Но Перрина не чувствовала в этом ничего оскорбительного для себя. Не все ли равно, что ей подают не первой, а последней и что лучшие куски уже взяты? Ее гораздо больше интересовало то, что она услышит, сидя так недалеко от большого стола. Разговор может подсказать ей, как держать себя, чего следует избегать и на что можно рассчитывать в будущем; одно какое-нибудь слово уяснит ей положение дел лучше, чем наблюдения за целые месяцы. А дурного в этом нет ничего: это ведь не шпионство, не подслушивание у дверей, да и сами они не маленькие и отлично знают, что можно говорить при посторонних и чего нельзя, — значит, без малейшего угрызения совести она может слушать все, что будет говориться за большим столом.

К несчастью, в это утро беседа Фабри и Монблэ не представляла ничего интересного для Перрины; кроме того, и сама она спешила скорей покончить с завтраком, так как хотела расспросить Розали, откуда узнал господин Вульфран, что она ночевала только одну ночь у тетушки Франсуазы.

— А, да это заявлялся долговязый, пока мы ходили в Пиккиньи. Он расспрашивал о вас тетю Зенобию: она и сказала ему, что вы ночевали здесь одну только ночь, да еще и от себя кое-что прибавила о вас.

— Что же еще могла она сказать про меня?

— Этого я не знаю, потому что меня здесь не было, но я думаю, — все, что пришло в голову и, конечно, самое худшее. Впрочем, вам это, кажется, не очень повредило.

— Напротив, это только помогло мне, потому что рассказ мой доставил удовольствие господину Вульфрану.

— Непременно расскажу это тете Зенобии; то-то она будет беситься.

Ровно в три часа, как сказал господин Вульфран, они отправились в экипаже на обычный осмотр фабрик, что старик делал ежедневно. В этот день объезд начат был с Флекселля, довольно большого села, где помещаются чесальные мастерские льна и пеньки. Прибыв на фабрику, господин Вульфран, вместо того чтобы отправиться в бюро директора, пожелал войти, опираясь на плечо Перрины, в громадный амбар, куда складывали тюки пеньки, доставленные на фабрику прямо в вагонах.

— Слушай внимательно, что я буду тебе объяснять, — сказал господин Вульфран Перрине, — сегодня я хочу в первый раз попробовать видеть твоими глазами, исследуя кое-какие из привезенных тюков. Знаешь ты, что такое серебристый цвет?

Перрина задумалась.

— Или, скорее, серовато-жемчужный?

— Серовато-жемчужный? Да, сударь.

— Прекрасно! Теперь скажи мне, сумеешь ли ты различить оттенки цветов: темно-зеленый, светло-зеленый, рыжеватого-серый, красноватый?

— Да, сударь, по крайней мере, приблизительно.

— Этого достаточно. Ну, так возьми пеньку из первого попавшегося тюка и посмотри на нее хорошенько, а потом скажи мне, какого она цвета.

Перрина исполнила приказание и, рассмотрев внимательно пеньку, робко проговорила:

— Красного; кажется, красноватого...

— Дай мне пеньку.

Он поднес пеньку к носу и понюхал.

— Ты не ошиблась, — послышался ответ, — эта пенька должна быть действительно красноватого цвета.

Перрина удивленно взглянула на господина Вульфрана, и он, как бы угадывая ее изумление, продолжал:

— Понюхай эту пеньку; чувствуешь, у нее запах карамели?

— Да, сударь.

— Ну, так вот этот запах доказывает, что пеньку эту сушили в печке и там подожгли, — оттого она и красноватая. Это дает мне надежду, что ты не очень будешь ошибаться и дальше. Пойдем теперь к другому вагону, возьми там пеньку из какого-нибудь тюка.

На этот раз Перрина нашла, что цвет пеньки был зеленый.

— Зеленого цвета по крайней мере двадцать оттенков. Назови мне какое-нибудь растение, похожее на эту пеньку цветом.

— Капуста; только мне кажется, что здесь есть еще местами коричневые и черные пятна.

— Дай мне ее.

На этот раз слепой взял пеньку в обе руки и, слегка потянув ее, оборвал волокна.

— Эта пенька была снята слишком зеленой, — сказал он, — и, кроме того, еще подмокла в тюках. Твое определение верно и на этот раз. Я доволен тобой — это хорошее начало.

Отсюда они отправились дальше и продолжали свой объезд по другим деревням; побывали в Бакуре, в Эрме и, наконец, в Сен-Пипуа, где пробыли очень долго, так как осматривали результаты трудов английских механиков.

Как и всегда, лишь только господин Вульфран выходил из фаэтона, его отводили под тень громадного тополя; Гильом привязывал лошадь где-нибудь поблизости к скамье и затем отправлялся гулять по окрестностям, рассчитывая вернуться раньше, чем понадобится хозяину, который таким образом ничего не узнает об его отлучке. Но в этот день он почему-то запоздал, так что когда господин Вульфран вернулся к экипажу, кучера еще не было.

— Велите поискать Гильома, — обращаясь к сопровождавшему их директору, сказал слепой.

Но сколько Гильома ни искали, его нигде не могли найти.

— Думаю, лучше будет, если я сам отвезу вас в Марокур, — предложил директор.

— Благодарю вас, Бенуа, меня довезет эта девочка.

— Но умеет ли она править?

— Родители ее были странствующими торговцами, и она часто исполняла обязанности кучера... Не так ли, малютка?

— Это правда, сударь.

— Впрочем, Коко кроток, как ягненок, и не опрокинет нас в канаву, если его туда не загонят нарочно.

И господин Вульфран сел в экипаж. Перрина заняла место возле него и подобрала вожжи.

— Не очень скоро, — сказал старик, когда она слегка тронула Коко концом кнута.

Велико было всеобщее удивление, когда на улицах Марокура показался экипаж господина Вульфрана, в котором на месте Гильома сидела девочка в черной соломенной шляпе, в трауре, умело и ловко правившая лошадей. Что бы это значило? Кто эта маленькая девочка? В деревне почти никто не знал Перрину, никому не было известно, какое место она теперь занимает при хозяине фабрик, и все терялись в догадках.

Если обыватели Марокура были сильно удивлены, увидев господина Вульфрана с Перриной, то Талуэль был просто поражен.

— А где же Гильом? — воскликнул он, кидаясь вниз с лестницы, чтобы встретить хозяина.

— Я его прогнал, — отвечал господин Вульфран, улыбаясь.

— Мне кажется, что вы давно уже собирались это сделать, — сказал Талуэль.

— Совершенно верно.

— Мне кажется также, — продолжал Талуэль, помогая господину Вульфрану выйти из экипажа, — что эта девочка, которую вы взяли взамен Гильома, оказалась достойной вашего доверия?

— Вы не ошиблись.

— Меня это не удивляет. В тот день, когда она вошла сюда вместе с Розали, мне показалось, что из нее выйдет прок и что вы это непременно заметите.

Говоря таким образом, Талуэль бросил на Перрину взгляд, ясно говоривший: «Видишь, что я для тебя делаю; не забывай этого и будь готова отплатить мне за добро!»

Требование отплаты по этому условию не заставило себя ждать. Незадолго до окончания работ Талуэль остановился перед бюро Бэндита и, не входя, спросил вполголоса, так, чтобы слышать его могла одна Перрина.

— Что случилось с Гильомом в Сен-Пипуа?

Так как в вопросе этом не было ничего особенного, то девочка, после короткого размышления, решила рассказать ему все, что видела.

— Прекрасно, — проговорил Талуэль. — Можешь быть спокойна; когда Гильом придет опять проситься на службу, он будет иметь дело со мной.

## Глава XXIX

По заведенному обычаю, как только господин Вульфран входил утром в свой кабинет, сразу же начиналось чтение писем, за которыми ходил на почту мальчик, раскладывавший затем их на столе; в одной кучке лежали письма из Франции, а в другой — из-за границы. Прежде господин Вульфран сам прочитывал всю французскую корреспонденцию и затем диктовал кому-нибудь из служащих распоряжения по этим письмам и ответы; но с тех пор, как он ослеп, в этом деле ему помогали Талуэль и племянники, читавшие письма вслух и делавшие тут же нужные заметки. Что касается корреспонденции из-за границы, то с начала болезни Бэндита письма на английском языке передавались Фабри, а на немецком — поступали к Монблэ.

На другой день после приключения в Сен-Пипуа господин Вульфран, Теодор, Казимир и Талуэль занимались в кабинете обычной разборкой корреспонденции, как вдруг Теодор, вскрывавший заграничные письма, проговорил:

— Письмо из Дакка, от двадцать девятого мая.

— На французском? — спросил господин Вульфран.

— Нет, на английском.

— Кем подписано?

— Подписано не очень разборчиво: какой-то Фельдэс, Фальдэс, или Фильдэс, и впереди еще стоит какое-то слово, которого я вообще не могу разобрать. Целых четыре страницы. Ваше имя повторяется несколько раз. Прикажете передать Фабри, да?

— Нет, дай его мне!

Талуэль и Теодор удивленно и вместе с тем подозрительно взглянули на господина Вульфрана.

— Я кладу письмо на ваш стол, — сказал Теодор.

— Не надо, дай его мне в руки!

Вскоре после этого разборка корреспонденции была окончена, и ожидавшийся здесь же конторщик забрал всю грудку писем и унес с собою для раздачи по принадлежности; дом за ним из кабинета вышли Талуэль и племянники.

Оставшись один, господин Вульфран позвонил, и на пороге тотчас же показалась Перрина.

— Откуда это письмо? — спросил ее старик.

Перрина взяла письмо. Если бы господин Вульфран не был слеп, он увидел бы, как побледнело лицо девочки, дрожат ее руки.

— Это письмо на английском языке, от двадцать девятого мая, из Дакка, — не совсем твердым голосом проговорила она.

— Кем подписано?

— Отцом Фильдэсом.

— Верно ли это?

— Да, сударь, тут стоит подпись отца Фильдэса.

— Что он пишет?

— Позвольте мне пробежать несколько строк, прежде чем отвечать.

— Разумеется, но только поскорей.

Перрина и рада была бы исполнить приказание, но теперь волнение ее дошло до такой степени, что буквы прыгали у нее перед глазами, которые словно застилало туманом.

— Ну, что же? — нетерпеливо спросил господин Вульфран.

— Сударь, почерк неразборчив, и фразы так длинные, что я не могу сразу перевести вам все письмо.

— И не надо, не переводи, читай про себя! О чем он пишет?

Когда волнение Перрины немного убавилось, она проговорила:

— Отец Фильдэс пишет, что отец Леклерк, которому вы писали, умер, и хотя ему и было поручено отцом Леклерком отвечать вам, но он не мог этого до сих пор сделать, потому что долгое время пробыл в отъезде и, кроме того, не успел собрать требуемые вами сведения. Он извиняется, что пишет вам по-английски, и прибавляет, что далеко не свободно владеет вашим прекрасным языком.

— Какие же он добыл сведения? — воскликнул господин Вульфран.

— Но я еще не дошла до этого места...

Хотя это и было сказано мягким голосом, но старик понял, что если будет торопить, то ничего не добьется.

— Ты права, дитя мое, — сказал он, — ты ведь это читать не по-французски и, разумеется, тебе нужно сначала хорошенько усвоить все, о чем тут пишется. Возьми это письмо и ступай в бюро Бэндита; там сначала прочти все послание целиком, а потом напиши перевод и приходи прочесть мне. Иди же и скорее принимайся за работу: мне очень хочется узнать, что пишет отец Фильдэс.

Перрина повернулась и пошла к двери, но господин Вульфран остановил ее:

— В этом письме речь идет о моих личных, семейных делах, о которых никто не должен знать. Слышишь, никто! О чем бы тебя ни спрашивали, если только кто-нибудь

осмелится сделать это, ты должна упорно молчать и не давать ни малейшего повода к догадкам. Видишь, как я тебе доверяю! Надеюсь, что ты окажешься достойной этого доверия. Помни, если ты будешь верно служить мне, тебе будет хорошо.

— Обещаю вам, сударь, быть достойной вашего доверия.

— Иди и пиши скорей.

Придя в бюро Бэндита, Перрина несколько раз прочла все письмо и только после этого стала писать перевод:

«Дакка, 29-го мая.

Милостивый государь!

С прискорбием сообщаю вам, что мы имели несчастье потерять преподобного отца Леклерка, которого вы просил сообщить вам некоторые сведения, которым, по-видимому, вы придаете большое значение. Внезапная болезнь лишила его возможности исполнить ваше поручение, и, умирая, он возложил эту обязанность на меня. Извините, что я так замедлил с ответом, но я долго отсутствовал в миссии, путешествуя по стране, и, кроме того, у меня много времени отняли справки о событиях, происшедших более двенадцати лет тому назад; поэтому еще раз обращаюсь к вам с просьбою простить мне это невольное замедление, а также и то, что я пишу вам по-английски, но это потому, что я далеко не совершенно владею прекрасным языком вашей родины».

Не без труда одолев этот отрывок, который и в самом деле трудно поддавался точному переводу, Перрина приостановилась на минуту и стала перечитывать написанное, чтобы проверить, нет ли где-нибудь ошибки. Вдруг дверь отворилась, в комнату вошел Теодор Пендавуан и попросил Перрину дать ему англо-французский словарь.

Словарь этот как раз лежал на столе открытым; девочка закрыла его и передала молодому человеку.

— Разве вы им не пользовались? — спросил Теодор, подходя ближе.

— Да, я заглядывала в него, но могу обойтись и без словаря.

— Каким же это образом?

— Мне он нужен только для того, чтобы иногда справляться об орфографии французских слов; но в этом вопросе его прекрасно может заменить французский словарь.

Перрина чувствовала, что Теодор стоит как раз за ее спиной и пытается прочесть ее перевод.

— Вы переводите письмо из Дакка?

Перрина очень удивилась, что ему известно, откуда пришло письмо, содержание которого должно было оставаться строгой тайной. Ради этого-то письма он, вероятно, и явился, англо-французский словарь, собственно, был только предлогом. В самом деле, зачем нужен ему тот словарь, если он вообще не знает английского?

— Да, сударь, — отвечала она.

— И хорошо идет перевод?

И как близорукий, он нагнулся через плечо девочки к столу; в ту же минуту Перрина перевернула лист таким образом, чтобы он мог видеть буквы только сбоку.

— О, пожалуйста, сударь, не читайте... у меня что-то не ладится... это черновик...

— Ничего.

— Напротив, сударь... мне, право, даже совестно, показывать такой перевод.

Теодор хотел взять листок, но Перрина положила на него руку, готовая даже силой защищать доверенную ей тайну.

Молодой человек говорил шутливым тоном, как взрослый с ребенком.

— Отдайте мне этот черновик.

— Нет, сударь, я не могу отдать вам его.

— Ну, ну!

И он, улыбаясь, стал отнимать у Перрины бумагу; та сопротивлялась.

— Нет, сударь, нет, я не отдам вам его!

— Да ведь это просто смешно!

— Только не для меня. Господин Вульфран запретил мне показывать кому бы то ни было письмо, и я, не могу и не хочу послушаться его.

— Я сам его распечатывал.

— Письмо на английском языке, а не перевод.

— Дядя сегодня же покажет мне этот знаменитый перевод.

— Это меня не касается; мое дело исполнить его приказание, и я, извините меня, не могу сделать то, что вы требуете.

Перрина говорила таким твердым голосом и вид у нее был такой решительный, что завладеть бумагой без борьбы нечего было и думать.

Заходить так далеко Теодор не хотел и сейчас же собрался уходить, процевив на прощанье:

— Очень рад, что вы столь добросовестно исполняете приказания дядюшки даже в таких мелочах, как эта.

Когда дверь за ним захлопнулась, Перрина снова принялась за работу; но она была так взволнована, что дело совсем не шло на лад. Как отомстят ей за это сопротивление, которым притворно восхищались только что, хотя в душе были прямо взбешены? Как будет она, одинокая и слабая, защищаться против этого всемогущего врага? Один удар — и она будет уничтожена, разбита. И тогда ей придется покинуть этот дом, куда она только что проникла.

Снова отворилась дверь, и, бесшумно скользя по паркету, в комнату вошел Талуэль.

— Ну, как идет перевод письма из Дакка?

— Я только начинаю.

— Тебе помешал господин Теодор? Зачем он приходил сюда?

— Взять английский словарь.

— Зачем это? Он не знает английского языка.

— Не знаю, он ничего не говорил.

— А не спрашивал он тебя, о чем речь в этом письме?

— Я не успела перевести и первой фразы, когда он вошел сюда.

— Уж не хочешь ли ты уверить меня, что не прочитала всего письма?

— Я еще не перевела его.

— Ты не успела написать его по-французски, но ты прочла его.

Перрина молчала.

— Что же ты молчишь?

— Я не могу отвечать.

— Почему?

— Потому что господин Вульфран запретил мне говорить про это письмо.

— От меня он не скрывает ничего. Все его распоряжения передаются через меня; все награды, все его милости делаются тоже через меня, и, значит, я должен знать все, что его касается.

— Даже его личные дела?

— А, значит, в этом письме говорится об его личных делах?

Перрина увидела, что проговорила.

— Я этого не говорила: но я спрашиваю вас: если бы здесь сообщалось о его личных делах, я тоже должна была бы передать вам содержание письма?

— Тогда-то я тем более должен все знать, это в интересах самого же господина Вульфрана. Разве ты не слышала, что он заболел в результате огорчений, которые его чуть не убили? Если он неожиданно получит какое-нибудь известие, которое причинит ему новую горе или слишком сильную радость, это может стоить ему жизни. Поэтому-то я заранее

должен знать все, что его касается, чтобы иметь время его подготовить, на что, конечно, у меня не будет времени, если ты сразу же пойдешь и прочтешь ему свой перевод.

Талуэль произнес это мягким, подкупающим голосом, который вовсе не походил на его обычный грубый и суровый тон.

Заметив, что Перрина слушает молча, не произнося ни слова, он продолжал:

— Надеюсь, ты меня понимаешь, и понимаешь, как важно для всех нас, для всего этого края, наконец, для тебя самой, чтобы здоровье господина Вульфрана не было подорвано какими-нибудь неожиданностями, которых он, скорее всего, не перенесет. На вид он еще бодр, но семейные неприятности расшатали его организм, а потеря зрения приводит его в отчаяние. Поэтому-то все мы должны заботиться о его душевном равновесии, и я, конечно, больше всех, потому что пользуюсь особенным его доверием.

Если бы Перрина не знала ничего о Талуэле, быть может, слова его и тронули бы ее, но рассказы работниц там, на чердаке, достаточно просветили ее на этот счет. Он просто хотел заставить ее говорить и только ради этого разыгрывал перед нею преданного слугу господина Вульфрана. Для нее было совершенно ясно, что и директор, и Теодор желали только одного: узнать, что сообщается в письме из Дакка. Недаром господин Вульфран запретил ей передавать кому-нибудь содержание письма. Значит, он предвидел, что могут быть попытки узнать это, и, вероятно, даже догадывался, с чьей именно стороны. Что ж, тем хуже для этих господ: она ни за что не нарушит слова, данного слепому старику, что бы там дальше ни было.

Талуэль стоял, облокотившись на стол и пристально глядя в глаза девочки, точно гипнотизируя ее, как змея. Перрина собрала всю свою храбрость и твердым голосом сказала:

— Господин Вульфран запретил мне говорить кому бы то ни было об этом письме.

Талуэль выпрямился, взбешенный таким сопротивлением, но затем, овладев собой, опять склонился к ней и проговорил:

— Вот именно мне-то и можно сказать, потому что я не кто-нибудь, а второй господин Вульфран.

Перрина не отвечала.

— Да ты просто глупа! — воскликнул он сдавленным голосом.

— Конечно, я глупа.

— Ну, так постарайся понять, что для того, чтобы удержать место, которое дал тебе господин Вульфран, тебе нужно прежде всего быть умной; а так как ума у тебя нет, то и места этого ты не сохранишь, и я настою на том, чтобы тебя прогнали. Это ты понимаешь?

— Да, сударь.

— Ну, так подумай об этом! Подумай о том, какое ты занимаешь положение сегодня и каким оно будет завтра, когда ты очутишься на улице. Подумай и ответ сообщи мне сегодня вечером.

И не говоря больше ни слова, он так же, по-змеиному скользя по паркету, вышел из комнаты.

## Глава XXX

— «Подумай!»

Перрине некогда было размышлять, так как господин Вульфран с нетерпением ожидал перевода и каждую минуту мог вызвать ее к себе.

И она снова принялась за письмо, рассчитывая, что за работой волнение ее несколько уляжется и у нее еще будет время более хладнокровно обдумать свое положение; ведь говорить с Талуэлем придется вечером, а перевод нужно нести сейчас, — значит, сначала письмо, а потом уже свои личные дела.



«Самым главным затруднением в моих розысках, как я уже имел честь объяснить вам, было получить нужные сведения о событии, случившемся так давно, — я говорю о женитьбе господина Эдмонда Пендавуана, вашего дорогого сына. Преподобный отец Леклерк, благословивший этот союз, умер, не успев сообщить мне никаких подробностей, и только после долгих розысков и расспросов мне удалось собрать необходимый материал, который и спешу теперь сообщить вам. Из всего, что я узнал, можно заключить, что особа, сделавшаяся женой вашего сына, была щедро одарена не только внешней красотой, но и всеми прекрасными качествами ума и сердца»...

Четыре раза принималась Перрина переводить этот отрывок, чуть ли не самый трудный из всего письма, и, наконец, решила передать его дословно, хотя и сознавала, что перевод ее далеко не идеален.

«Давно уже миновало то время, — *переводила дальше девочка*, — когда все познания индусских женщин ограничивались умением держать себя в обществе, а образование, в европейском смысле слова, считалось не только не нужным, но даже вредным; в настоящее время большинство представителей даже высших каст дает своим детям образование без различия пола, памятуя, что в древности покровительницей науки считалась индийская богиня Сарасвати. Невестка ваша принадлежала именно к той категории; отец и мать ее, происходившие из касты браминов, то есть дважды рожденных, по выражению индусов, имели счастье быть обращенными в нашу религию преподобным отцом Леклерком в первые же годы его миссионерской деятельности. Но главным препятствием в успехах нашей деятельности в Индии является могущественное влияние каст, и вследствие этого, если кто-нибудь меняет свою веру, он в то же время исключается и из своей касты, лишается своего общественного положения, теряет все свои связи и как бы изгоняется из общества, к которому принадлежал. Так случилось и с этой семьей, которая только потому, что перешла в христианство, утратила свои права по происхождению и обратилась вдруг в париев.

Вполне естественно, что, отвергнутая индусами, семья эта невольно стала тяготеть к европейцам; деловые и дружеские отношения настолько упрочились, что родственники супруги вашего сына вступили в соглашение с одним почтенным французом и открыли вместе с ним фабрику легких бумажных тканей под названием: «Дорессани и Бершэ».

В семействе Бершэ Эдмонд Пендавуан познакомился с мадемуазель Мари Дорессани и влюбился в нее. Это обстоятельство еще более подтверждает все, что я говорил вам о достоинствах молодой девушки, тем более что отзывы о ней, собранные мною, были совершенно одинаковы. К сожалению, лично сам я ничего не могу сказать о ней, так как прибыл сюда уже после отъезда вашего сына.

Почему и какие могли быть препятствия ко вступлению в брак вашего сына с молодой индуской? — этим вопросом я не занимался, да думаю, что ответа на него от меня и не потребуется.

Как бы там ни было, но свадьбу все-таки отпраздновали, и в нашей капелле сам преподобный отец Леклерк благословил брак господина Эдмонда Пендавуана с мадемуазель Мари Дорессани; событие это записано в наших метрических книгах, и, если вы пожелаете, можно будет выслать вам копию записи.

Целых четыре года прожил господин Эдмонд Пендавуан в доме родителей своей жены, где Всемогущим Господом даровано было им дитя, девочка. У всех, знавших их здесь, они оставили по себе самые лучшие воспоминания как в высшей степени приятные люди и примерные супруги, единственным недостатком которых было разве только некоторое излишнее увлечение светскими удовольствиями... Но разве можно ставить им это в вину?

Долго процветавшая фирма Дорессани и Бершэ начала вдруг терпеть неудачи и нести большие убытки, повлекшие за собой полное разорение. Супруги Дорессани скоро умерли, а семейство Бершэ покинуло Индию и возвратилось во Францию. Господин Эдмонд

Пендавуан отправился в Далузию в качестве коллектора растений и всевозможных редкостей для английских торговых домов, увезя с собою молодую жену и маленькую дочку, которой тогда было около трех лет.

С тех пор господин Эдмонд уже не возвращался в Дакка. От одного из его друзей, которому он писал несколько раз, а также от одного из наших миссионеров, получившего эти сведения от преподобного отца Леклерка, переписывавшегося с вашим сыном, я узнал, что он прожил несколько лет в Дэра, откуда и отправился в свои экскурсии к тибетской границе; дела его в это время, по словам рассказчиков, шли очень недурно.

Сам я в Дэра ни разу не был, но у нас есть там миссия, и, если вам будет угодно, я с удовольствием напишу одному из тамошних миссионеров, содействие которого в этом случае могло бы быть вам полезно».

Наконец-то это ужасное письмо было окончено, и Перрина, проворно собрав листочки, направилась в кабинет к господину Вульфрану. Старик большими шагами ходил из угла в угол по комнате, отсчитывая шаги, чтобы убить бесконечно долго тянувшееся время.

— Ты что-то очень долго возилась, — заметил он.

— Письмо довольно длинное, да и перевод очень труден.

— Тебе не мешали? Я слышал, как кто-то два раза отворял и затворял твою дверь.

— Господин Теодор и господин Талуэль приходили ко мне в бюро.

— А!

Он хотел еще что-то сказать, но потом, точно раздумав, промолвил:

— Сначала письмо, а об этом мы еще успеем поговорить. Садись возле меня и читай медленно, отчетливо, не слишком повышая голос.

Она прочла, как ей было приказано, голосом скорее приглушенным, чем обычным.

Несколько раз господин Вульфран прерывал ее, но не обращался к ней, а следовал за своими мыслями:

«...Примерные супруги... светские удовольствия... английских торговых домов»...  
Каких домов?

«...От одного из его друзей»... Кто этот друг?..

К какому времени относятся эти сведения?..

Когда Перрина кончила чтение письма, господин Вульфран проговорил в раздумье:

— Все фразы! Ни одного факта, ни одного имени, ни одного числа. Какой поверхностный ум у этих людей!

Он помолчал с минуту и потом спросил:

— Можешь ты перевести с французского на английский так же, как ты перевела письмо с английского на французский?

— Если фразы не очень трудны, — да.

— Дешешу?

— Я думаю, что смогу.

— Ну, садись за маленький стол и пиши:

«Дакка. Миссия. Отцу Фильдэсу.

Благодарю за письмо. Прошу сообщить депешей, ответ уплачен двадцать слов, имя друга, получившего известия позднее этих. Сообщите также имя миссионера в Дэра и предупредите его, что я буду писать прямо к нему.

*Пендавуан» .*

— Переведи это на английский язык и постарайся насколько можно сократить... по одному франку шестьдесят сантимов за слово... нечего их зря бросать... пиши крупно, четко.

Перевод был окончен довольно быстро, и Перрина стала громко его читать.

— Сколько слов? — спросил старик.

— По-английски — сорок пять.

— Это выходит семьдесят два франка за депешу да тридцать два за ответ, а всего сто четыре франка. Вот тебе деньги, отправляйся сама на станцию и прочти депешу телеграфистке, чтобы она не наделала ошибок.

На веранде Перрина встретила Талуэля, который, заложив руки в карманы, прохаживался взад и вперед, наблюдая за всем, что происходит на дворе и в конторе.

— Куда ты идешь? — остановил он девочку.

— На телеграф, отнести депешу.

Талуэль быстрым движением вырвал депешу из рук Перрины, но, увидя, что она написана по-английски, сейчас же возвратил ее обратно.

— Ты не забыла, что сегодня вечером должна говорить со мной? — сердито буркнул он.

— Нет, сударь.

Вернувшись с телеграфной станции, Перрина долго пробыла одна, так как господин Вульфран потребовал ее к себе только в три часа, как раз в минуту обычного выезда.

— Ты так хорошо правила вчера, что я и сегодня попрошу тебя оказать мне эту услугу, — сказал он. — Кроме того, нам надо поговорить так, чтобы не помешали посторонние.

Когда они проехали деревню и выбрались на луга, где в это время сенокос был в полном разгаре, молчавший до сих пор господин Вульфран наконец заговорил:

— Ты мне призналась, что Теодор и Талуэль приходили к тебе в бюро.

— Да, сударь.

— Что им от тебя понадобилось?

Перрина колебалась.

— Что же ты молчишь? Или ты забыла, что должна мне все говорить?

— Да, сударь, я это знаю... но я боюсь... я не решаюсь...

— Никогда не следует колебаться при выполнении своих обязанностей: если ты думаешь, что должна молчать, — молчи; если же думаешь, что должна отвечать на мой вопрос, — то отвечай.

— Мне кажется, что я должна отвечать.

— Я тебя слушаю.

Перрина рассказала, как приходил в бюро Теодор, и слово в слово повторила весь его разговор с ней.

— И это все? — спросил старик, когда она умолкла.

— Да, сударь, все.

— А Талуэль?

Перрина так же правдиво передала сцену с директором, слегка изменив лишь то, что имело отношение к болезни господина Вульфрана, затем рассказала про новую встречу с ним, когда относила депешу, и прибавила, что он опять настойчиво требовал от нее донесения по поводу письма из Дакка.

Поглощенная своим рассказом, девочка предоставила Коко идти шагом, и старая лошадь, пользуясь этой свободой, спокойно брела, вдыхая приятный запах высушающего сена.

Несколько минут господин Вульфран не говорил ни слова, и наблюдавшая за ним

Перрина заметила выражение досады на его лице.

— Прежде всего, я должен тебя успокоить, — наконец заговорил он. — Будь уверена, что с тобой ничего не случится, и, если кто-нибудь вздумает отомстить тебе за это сопротивление, я сумею тебя защитить. Я ведь предвидел эти попытки, когда приказывал тебе не сообщать никому содержания полученного из Дакка письма. Больше этого не случится. Начиная с завтрашнего дня ты будешь заниматься у меня в кабинете; я отведу тебе комнату в замке, и ты будешь обедать вместе со мной. Я уверен, что мне предстоит получать из Индии и посылать туда письма и депеши, о которых знать будешь ты одна. Я должен принять меры, чтобы у тебя не вырвали силой или не выманили хитростью те сведения, которые должны оставаться в тайне.

Радость Перрины была так сильна, что она не могла даже говорить.

— Доверие к тебе явилось у меня благодаря твоей храбрости в борьбе с нуждой; когда человек так отважен, как ты, он должен быть и честен; ты только что доказала мне, что я не ошибся и могу довериться тебе, как если бы знал тебя уже целые годы. Ты, вероятно, уже замечала не раз, что обо мне говорят с завистью, но уверяю тебя, что самый бедный из моих рабочих несравненно счастливее меня. Что такое богатство без здоровья, которое позволяло бы им пользоваться? Тяжелое бремя и больше ничего... А горе, которое я ношу в себе, давит меня. Я знаю, что целых семь тысяч рабочих живут только благодаря мне; ради них я должен жить и трудиться, потому что, если меня не станет, это обернется бедой: одни сделаются нищими, а другие могут даже умереть голодной смертью. И я должен жить ради них, ради чести этого дома, созданного мною, составляющего мою радость, мою славу, — а я слеп!

Старик смолк, и горечь этой жалобы вызвала слезы на глазах Перрины; после небольшой паузы он продолжал:

— По тому письму, которое ты переводила, а также по рассказам рабочих ты должна знать, что у меня есть сын; но между ним и мною, по разным причинам, о которых я не хочу говорить, произошли серьезные разногласия, разлучившие нас, а его женитьба без моего согласия привела к нашему полному разрыву, хотя и не погасила моей любви к нему. Несмотря ни на что, я его люблю, как любил еще ребенком, и когда я о нем думаю — а я только о нем и думаю днем и ночью, — я своими потускневшими глазами все еще вижу маленького мальчика. Своему отцу мой сын предпочел женщину, которую он полюбил и на которой женился. Вместо того чтобы вернуться ко мне, он остался жить возле нее, потому что я не мог и не должен был принять ее. Я надеялся, что он уступит; он думал, что я сам уступлю. Но у нас у обоих один и тот же характер: мы не уступили, ни тот, ни другой. Я больше уже не получал о нем известий и, как ты сама знаешь, несмотря на все розыски, не знаю даже, где он. К тому же здесь есть еще одно обстоятельство, которое я тебе постараюсь объяснить. Хотя ты еще ребенок, ты должна знать и постараться понять все, чтобы быть мне действительно полезной. Продолжительное отсутствие моего сына и наш разрыв пробудили в других людях некоторые надежды. Если мой сын не явится занять мое место, когда пробьет час, кто заменит его? Кому достанется все это состояние? Понимаешь ли ты, какие надежды невольно пробуждаются этим вопросом?

— Почти понимаю, сударь.

— Этого достаточно, и я даже предпочитаю, чтобы ты не вполне их понимала. Среди людей, которые должны были бы меня поддерживать и мне помогать, есть господа, интересы которых требуют, чтобы мой сын не возвращался; они даже не стесняются говорить, что мой сын умер. Умер! Мой сын! Разве это возможно? Неужели бог поразил бы меня таким ужасным несчастием? Что я буду делать здесь на земле, если Эдмонд умер? По закону природы дети должны переживать своих родителей, и я не допускаю мысли, чтобы сына моего уже не было на свете. Но у меня, кроме этого, есть масса доказательств, что они ошибаются. Если бы Эдмонд погиб, то его жена первая известила бы меня об этом. Значит, он не умер... я в этом уверен... хочу верить...

Перрина уже не смотрела на господина Вульфрана: она сидела отвернувшись, точно боясь, что он может увидеть ее лицо.

— Все это я говорю тебе откровенно для того, чтобы ты знала, какое дело я тебе поручаю; ты должна помочь мне вернуть сына, и я уверен, что ты будешь служить мне верно. Я говорю тебе об этом еще и потому, что всю жизнь моим правилом было идти прямо к цели. Но они не хотят мне верить и думают, что я просто обманываю их... Вот почему они и пытались обмануть тебя и, наверное, попытаются еще не раз. Ну, да ты теперь предупреждена — это главное, что я должен был сделать с самого начала.

— А я, — воскликнула Перрина, когда он кончил, — я должна вам сказать, что я с вами, сударь, с вами всем сердцем.

## Глава XXXI

Вечером, после объезда фабрик, господин Вульфран, не возвращаясь в бюро, приказал Перрине взять его прямо в замок, и она в первый раз попала за роскошную позолоченную решетку, приобретенную владельцем замка за баснословно дорогую цену на одной из последних выставок.

— Поезжай по главной большой аллее, — велел старик.

Теперь Перрина могла вблизи полюбоваться куртинами цветов, которые до сих пор ей удавалось видеть только издали, в виде красных или розовых пятен на темном бархате подстриженного газона. Привыкший к этой, так хорошо знакомой ему дороге, Коко шел шагом, и девочка, опустив вожжи, свободно могла наслаждаться разворачивающейся перед ней картиной. Хотя сам господин Вульфран, из-за своей слепоты, и не мог видеть ни цветов, ни бархатной поверхности газона, ни раскидистых крон деревьев, сад, тем не менее, продолжал поддерживаться в том же образцовом порядке, как и в то время, когда хозяин был еще здоров и строго взыскивал за любое упущение.

— Ты здесь, Бастьен? — не выходя из экипажа, спросил господин Вульфран, когда Коко остановился у подъезда.

— Да, сударь.

— Проводи эту молодую барышню в комнату бабочек и позаботься обо всем, что ей нужно. Она будет жить в замке и обедать вместе со мною; прибор ее поставить против моего. Да, кстати, скажи по дороге Феликсу, чтобы он отвез меня в бюро. Обедать мы будем в восемь часов, а до тех пор ты свободна, дитя мое, — прибавил он, обращаясь к своей спутнице.

Перрина вышла из экипажа и направилась вслед за камердинером. Ей казалось, что она переживает один из тех чудных снов, которые так часто создавала ее богатая фантазия в дни нужды и горя. А как хорош, как прекрасен был этот сон, и как хотелось ей, чтобы он продолжался как можно дольше, если уж нельзя не просыпаться совсем!

Через массивную дверь она вошла в огромный вестибюль, откуда наверх шла роскошная лестница с мраморными ступенями. Дорогой бархатный ковер красной дорожкой бежал вверх по ступеням. На каждой площадке в красивых жардиньерах расставлены были тропические цветы, тонкое благоухание которых разливалось в воздухе.

— Неужели можно постоянно жить в таком доме и привыкнуть ко всей этой царской роскоши! Нет, не может быть! Это просто заколдованный замок какой-нибудь волшебницы!.. Один неосторожный шаг, одно неловкое движение — и все очарование исчезнет...

На верхней площадке лестницы Бастьен остановился.

— Я сейчас пришлю к вам горничную, — сказал он и, открыв одну из дверей, ушел.

Пройдя по небольшому полутемному коридору, Перрина очутилась в просторной, очень светлой комнате, обитой материей цвета слоновой кости, затканной яркими бабочками; мебель была из белого дерева с темными крапинками, и серый пушистый ковер покрывал весь пол.

Не успела Перрина вдоволь налюбоваться уютным гнездышком, в которое она так неожиданно попала, как отворилась дверь и вошла горничная.

— Бастьен послал меня к вам, сударыня, — вежливо кланяясь, сказала она.

Горничная, в светлом платье и кружевном чепчике, для того, чтобы исполнять приказания той, которая так недавно еще спала в шалаше, на ложе из тростника, среди болот, вместе с крысами и лягушками! Перрина не сразу сообразила, что нужно тут этой нарядной особе, и несколько минут простояла в замешательстве, не зная, что сказать.

— Благодарю вас, — наконец проговорила она, — но кажется... мне ничего не нужно.

— Если госпоже угодно, я покажу ей ее комнату.

И, не дожидаясь ответа, она отворила дверцы зеркального шкапа и выдвинула ящики туалетного столика, наполненные щетками, гребенками, мылом и различными флакончиками, затем прижала пуговицы в обоях.

— Эта — чтобы позвать прислугу, эта — для освещения.

В ту же минуту яркий ослепительный свет залил всю комнату и мгновенно погас. Перрине вспомнилась при этом ночь в лесу, когда ее настигла гроза и сверкавшие молнии указывали ей дорогу.

— Когда я вам понадобится, госпожа, потрудитесь позвонить... один раз для Бастьена, два раза — для меня.

Перрине больше всего хотелось остаться одной и привести в порядок свои мысли: события этого дня выбили ее из колеи, и нужно было время, чтобы освоиться с новой обстановкой.

И в самом деле, как много случилось за день! Могла ли она думать утром, слушая угрозы Талуэля, что вечером она не только будет в безопасности, но даже сделает еще шаг вперед по намеченному пути. И как это странно: сами нападки Теодора и Талуэля принесли ей пользу... Это становится даже смешно.

Но еще больше посмеялась бы Перрина, если бы она могла видеть физиономию директора, принимавшего господина Вульфрана у лестницы, ведущей в бюро.

— Кажется, эта молодая особа выкинула какую-то глупость? — осведомился Талуэль.

— Вовсе нет.

— А между тем вас привез обратно Феликс?

— Я проездом доставил ее в замок, чтобы дать ей время приготовиться к обеду.

— К обеду! Мне кажется...

Талуэль так был поражен этим, что сразу не мог даже придумать, что именно должно было ему казаться.

— А мне кажется, — перебил его господин Вульфран, — что вы и сами не знаете, что вам кажется.

— ...Мне кажется, что вы хотите оставить ее обедать с вами.

— Совершенно верно. Мне давно уже хотелось иметь возле себя умное, скромное, преданное мне существо, на которое я мог бы вполне положиться; эта девочка соединяет в себе все эти качества: она умна, я в этом уверен, она также скромна и верна, и я имею этому доказательства. На мне лежит обязанность оградить ее от нападений некоторых лиц, с которыми, если они не перестанут ее преследовать, я принужден буду расстаться, кто бы они ни были. — Он сделал ударение на последних словах и продолжал: — Она будет заниматься в моем кабинете, ездить со мной по фабрикам, обедать за одним столом со мной и жить в замке, одним словом, будет постоянно находиться при мне.

Талуэль тем временем успел вернуть себе свое обычное хладнокровие и поспешно сказал:

— Мне кажется, что эта девочка оправдывает ваше доверие.

— Мне тоже это кажется.

Между тем Перрина, облокотясь на подоконник, мечтала, любуясь на покрытые цветами лужайки сада, на фабрики, на деревню, с ее домами и церковью, на луга, на прилегающие к ним озера, серебристая вода которых искрилась под косыми лучами

заходящего солнца, на тот лесок, где она сидела в день своего приезда и где в тихом дуновении ветерка она словно слышала голос своей матери, нежно шептавший ей: «Я вижу тебя счастливой».

Фабричный свисток возвестил об окончании работ, и эти резкие звуки, нарушив очарование, сразу вернули ее из области фантазии к действительности. Тогда с высоты своей обсерватории, господствовавшей над улицами деревни и белыми дорогами, пролегавшими через зеленые луга и желтые поля, она увидела, как рассыпался черный муравейник рабочих, разделяясь на ходу на более мелкие группы, быстро исчезающие в переулках. Вскоре послышался звонок привратника, и экипаж господина Вульфрана показался на главной аллее.

Перрина отошла от окна и торопливо занялась своим туалетом, а ровно в восемь вышла из комнаты и спустилась вниз. Лакей во фраке и в белом галстуке провел ее в столовую, куда вслед затем вошел и господин Вульфран. С ним не было провожатого. Старик, как заметила девочка, шел по тиковой дорожке, проложенной по ковру через всю комнату.

Перрина нерешительно стояла около своего стула, не зная, садиться ей или нет; к счастью, господин Вульфран понял ее колебания.

— Садись, — предложил он.

Тут же начали подавать блюда. Провожавший Перрину лакей поставил перед ней тарелку супу, а Бастьен подал другую тарелку своему хозяину.

Перрина чувствовала бы себя вполне непринужденно, если бы обедала одна с господином Вульфраном; но любопытные взгляды обоих слуг стесняли ее, и она с нетерпением ожидала конца обеда.

— Со времени моей болезни, — проговорил господин Вульфран, — я привык съедать по две тарелки супа, но ты, конечно, не обязана делать то же самое.

— Я так давно не ела супа, что охотно поем его два раза.

Вторым блюдом была баранина с горошком и салатом, на десерт подали сладкие пирожки и редкие фрукты.

— Завтра, если захочешь, можешь пойти осмотреть оранжереи, в которых выросли эти фрукты, — сказал господин Вульфран.

Перрина взяла всего несколько вишен, но он настоял, чтобы она попробовала абрикосы, персики и виноград.

— В твоём возрасте я съел бы все фрукты, которые поданы на стол, если бы мне их предложили.

Тогда старый Бастьен, которому понравилась скромность девочки, с видом знатока выбрал два самых лучших персика и большую кисть винограда и положил ей на тарелку.

Несмотря на это, Перрина была очень довольна, когда окончился обед: чем короче будет испытание, тем лучше, а завтра слуги, удовлетворив свое любопытство, возможно, оставят ее в покое.

— До завтрашнего дня ты свободна, — вставая из-за стола, объявил господин Вульфран, — ты можешь гулять в саду, читать в библиотеке или взять книгу к себе в комнату.

Перрина раздумывала, не предложить ли ей свои услуги господину Вульфрану, как вдруг, подняв голову, увидела Бастьена, делавшего ей знаки, которых она сначала не поняла: в левой руке он как будто держал книгу, которую перелистывал правой, показывая в то же время на господина Вульфрана и безмолвно шевеля губами. Значит, и он тоже советует ей предложить старику почитать ему что-нибудь и, вообще, постараться его развлечь.

— Не нужна ли я вам, сударь? Не хотите ли вы, чтобы я вам почитала? — храбро проговорила она.

Бастьен одобритительно кивнул головой.

— Когда человек работает, то необходимо, чтобы он имел и отдых, — отвечал господин Вульфран.

— Я совсем не устала, уверяю вас.

— Ну, так пойдём ко мне в кабинет.

Перрина не раз спрашивала себя, как проводил хозяин свое время, когда оставался один — ведь читать он не мог. Комната, в которую они вошли, не дала ответа на этот вопрос: вся меблировка кабинета состояла из большого письменного стола, заваленного бумагами, нескольких стульев и большого вольтеровского кресла перед одним из окон. Но вся обстановка говорила, что старик часто проводит здесь целые часы, сидя на большом кресле около окна, хотя и не может любоваться открывающимся видом.

— Что же ты мне считаешь? — спросил господин Вульфран. — Нравятся тебе описания путешествий?

— Да, сударь.

— И мне тоже: они занимают ум, заставляя его работать. Пойдем в библиотеку.

Библиотека примыкала к кабинету, и, чтобы попасть в нее, нужно было только отворить дверь.

— Ты знаешь журнал *«Вокруг света»*? — спросил господин Вульфран.

— Нет, сударь.

— Хорошо, алфавитный указатель поможет нам.

Он подвел Перрину к шкапу, где лежал этот список, и велел ей поискать его, на что потребовалось некоторое время; наконец указатель был найден.

— Что мне искать? — спросила девочка.

— На «И», слово «Индия».

Перрина поняла, что старик хочет послушать описание тех стран, где жил его сын и в которых он пытался его искать.

— Нашла, сударь.

— Прочти, что там написано?

— «Индия раджей, путешествие по государствам Центральной Индии и по Бенгальскому президентству, 1871 г. (2) 209 до 288».

— Это значит, что во втором томе 1871 г., на странице 209, мы найдем начало этого путешествия. Возьми этот том, и вернемся в кабинет.

Но когда Перрина достала нужный том с одной из нижних полок, она неподвижно замерла перед портретом, висевшим над камином.

— Что с тобой? — спросил господин Вульфран.

Перрина ответила взволнованным голосом:

— Я смотрю на портрет, который висит над камином.

— Это портрет моего сына, когда ему было двадцать лет; но ты, должно быть, плохо его видишь; подожди, я сейчас освещу его.

Он нажал пуговку, и несколько маленьких лампочек, помещенных над рамой и перед портретом, залили его светом.

Книга выскользнула из рук Перрины, и громкий крик вырвался из ее груди.

— Что с тобой? — тревожно спросил господин Вульфран.

Но Перрина не отвечала. Неотрывно смотрела она на белокурого молодого человека, в зеленом бархатном охотничьем костюме, в высокой фуражке с широким козырьком; он стоял, как живой, одной рукой опираясь на ружье, а другой глядя голову черной испанской собаки. Перрина дрожала как в лихорадке, и слезы градом текли по ее щекам; слышались сдавленные рыдания.

— О чем ты плачешь? — повторил господин Вульфран.

— Этот портрет... ваш сын... вы его отец... — задыхаясь от слез, дрожащим голосом проговорила девочка.

— И ты вспомнила о своем отце? — меняя тон на более ласковый, сказал старик.

— Да, сударь... да, сударь...

— Бедняжка!



## Глава XXXII

Как удивлены были оба вечно опаздывающие племянника, когда на следующее утро, войдя по обыкновению в кабинет дяди для разбора корреспонденции, они увидели гам и Перрину, спокойно занимавшую свое место, точно она с вечера и не уходила оттуда.

Талуэль не нашел нужным их предупредить и даже постарался нарочно прийти в кабинет как можно раньше, чтобы посмотреть, как отнесутся они к этому сюрпризу.

А сюрприз вышел очень удачным и доставил немало удовольствия господину «мне кажется», впервые в жизни не угадавшему, что именно должно было ему казаться. Если он и был взбешен незаконным вторжением в его права этой, бог весть откуда взявшейся нищей, то немалым утешением ему послужило то, что и другие поражены этим обстоятельством не меньше его. Какие взгляды, полные гнева и удивления, бросали Казимир и Теодор на Перрину! Видимо, они не могли уяснить, ради чего заседает эта девочка в святилище, куда они проникают только для того, чтобы выслушать приказания или сделать донесения всегда суровому с ними дяде. Талуэль положительно ликовал, и веселая, насмешливая улыбка все утро не сходила с его губ.

Когда обычные утренние занятия в кабинете дяди были окончены, Талуэль вышел из кабинета вместе с племянниками. Они, по-видимому, спешили к себе в бюро, чтобы наедине посоветоваться о мерах, которые следовало принять, чтобы как можно скорее выжить нового противника в лице так неожиданно явившейся девочки.

В эту минуту на дворе показался рассыльный с телеграфа.

— А, это, вероятно, ответная депеша из Дакка! — воскликнул Талуэль.

Он взял телеграмму и быстрыми шагами направился к кабинету господина Вульфрана.

— Угодно вам, чтобы я вскрыл депешу? — спросил он.

— Разумеется.

Талуэль вскрыл пакет и объявил, что телеграмма на английском языке.

— Передайте ее Орели и уходите! — проговорил Вульфран тоном, не допускавшим возражения.

Талуэль молча повинился. Когда дверь за ним затворилась, Перрина вслух перевела депешу:

«Сведения получил от французского негодяя Лезерра; последние известия пять лет тому назад; по вашему желанию писал в Дэра к миссионеру отцу Маккернессу».

— Пять лет! — вздохнул старик. — Что произошло с тех пор? Как найти след по истечении пяти лет? Но что попусту тратить время на бесполезные жалобы! Надо пользоваться тем, что имеем. Пиши сейчас же депешу на французском языке к Лезерру и на английском к отцу Маккернессу.

Перрина быстро написала на французском языке депешу, прочла ее господину Вульфрану и так же скоро перевела ее на английский язык; но когда она принялась за другую, к господину Лезерру, то задумалась над первой же фразой и попросила позволения сходить за словарем в бюро Бэндита.

— Ты, значит, не особенно хорошо знаешь орфографию?

— О, совсем плохо! А мне не хотелось бы, чтобы смеялись над этой депешей, которая пойдет от вашего имени.

— Значит, ты не в состоянии написать даже телеграмму без ошибок?

— Да, я уверена, что наделаю множество ошибок, особенно в словах с двойными буквами. По-английски для меня писать гораздо легче, чем по-французски.

— Ты разве не училась в школе?

— Никогда. Отец и мать, правда, учили меня, но урывками, когда нам удавалось провести хоть несколько дней в одном месте, — тогда я занималась, но это бывало очень редко.

— Ну, это не беда; мы постараемся как-нибудь помочь этому горю, а пока сделай, как

сумеешь, то, что нам нужно.

Во время обычного объезда фабрик господин Вульфран снова заговорил с Перриной.

— Писала ты своим родным?

— Нет еще, сударь.

— Почему же?

— Потому что мне больше всего хочется остаться здесь, возле вас: вы так добры ко мне и столько сделали для меня.

— Значит, тебе не хочется уходить от меня?

— Мне так хотелось бы навсегда остаться при вас. Я так вам благодарна за все сделанное вами для меня, что не знаю, чем и как я могла бы это заслужить.

— Очень рад. Но для того, чтобы ты действительно могла быть мне полезной, надо заняться твоим образованием. Ты будешь писать письма от моего имени, и в них не должны встречаться орфографические ошибки. Здесь живет превосходная учительница мадемуазель Бельом, и на обратном пути мы заедем к ней, чтобы переговорить относительно твоих занятий. Она выше меня ростом и гораздо полнее и сначала занималась частными уроками, но ее наружность пугала маленьких девочек, а имя<sup>2</sup> было предметом насмешек взрослых; это принудило ее покинуть город и стать сельской учительницей. Школа ее считается лучшей в нашей округе, а сама она пользуется всеобщим уважением. Я попрошу ее давать тебе уроки от шести до восьми часов вечера; в это время ты бываешь свободна.

— Я готова исполнить каждое ваше желание, и будьте уверены, что работы я не боюсь. А учиться я и сама желала бы больше всего на свете.

На обратном пути в Марокур фаэтон остановился у крыльца начальной школы для девочек. Мадемуазель Бельом вышла гостям навстречу, но господин Вульфран сам пожелал зайти в школу и там договориться обо всем с учительницей. Замыкавшая шествие Перрина украдкой рассматривала особу, о которой ей говорил господин Вульфран. Это была действительно великанша; но несмотря на ее величественную внешность, в лице ее было столько доброты и кротости, что о страхе, который она будто бы внушала своим ученицам, не могло быть и речи.

Могущественный владелец Марокура, само собою разумеется, не мог получить отказа; но если бы у мадемуазель Бельом и не было свободного времени, она нашла бы его и все-таки взялась бы заниматься с Перриной, потому что учить детей было ее страстью, единственным удовольствием в жизни. К тому же протееже господина Вульфрана очень понравилась ей.

— Мы сделаем образованную девушку из этой дикарки с глазами газели, — объявила мадемуазель Бельом в конце разговора. — Я никогда не видела газелей, но уверена, что у них должны быть именно такие глаза.

Несколько дней спустя, вернувшись в замок как раз перед обедом, господин Вульфран спросил мадемуазель Бельом, что она думает о своей ученице.

— Ах, это было бы большим несчастьем, если бы молодая девушка осталась без образования! — воскликнула та.

— Она умна, не правда ли?

— Умна?.. Она гениальна!

— Ну, а каков у нее почерк? — продолжал свои расспросы господин Вульфран, интересовавшийся главным образом тем, в чем особенно нуждался.

— Не особенно красив, но он исправится.

— А орфография?

— Слаба.

— Итак?

— Чтобы дать вам определенный ответ только на это, я могла бы заставить ее написать

---

<sup>2</sup> Bel homme — красивый мужчина.

диктант. Но мне казалось, что этого мало, и я попросила ее описать мне Марокур, как она умеет, строк сто, не больше. И что же вы думаете? В какой-нибудь час времени, не отрывая пера от бумаги, она исписала четыре большие страницы кругом. Я просто в восторг пришла, когда прочла это сочинение! Какой стиль, какая наблюдательность, какое мастерское описание природы! Если бы она не писала при мне, я подумала бы, что она это просто списала откуда-нибудь. Каллиграфия и орфография, конечно, очень плохи; но это не беда — через несколько месяцев она будет писать так же правильно и хорошо, как и я. У нее есть душа, есть ум, а это самое главное; остальное придет само собою, поверьте мне. Когда у вас найдется свободное время, попросите ее прочесть вам ту страницу, где она описывает торфяные озера, и вы увидите сами, что я не преувеличиваю, а говорю только правду.

Господин Вульфран обрадовал такой лестный отзыв учительницы, и он подробно рассказал ей все, что слышал от Перрины о ее жизни на островке, среди пруда, о том, как она делала сама себе посуду и готовила обед, которым даже как-то угощала Розали.

Когда он, наконец, умолк, собеседница его после короткого раздумья молвила:

— Не находите ли вы, что умение приготовить себе все необходимое есть самое ценное качество в жизни?

— Разумеется. Это-то главным образом и поразило меня в этой девочке и потом еще сила воли. Попросите-ка ее рассказать вам о себе, и вы увидите, чего ей стоило добратсья сюда.

— Ну, и она получила свою награду, потому что заинтересовала даже вас.

— Не только заинтересовала, но привязала к себе, потому что я ничего так не уважаю, как твердость характера, которой я сам обязан своим положением. Вот поэтому-то я и хочу вас просить обратить как можно больше внимания на нравственное развитие девочки и на ее характер: это несравненно важнее исправления ее почерка.

— Будьте уверены, что я приложу все старания, чтобы оправдать ваше доверие, — ответила учительница.

Перрина оказалась очень прилежной и внимательной ученицей. Нужно было видеть, с каким вниманием слушала она объяснение грамматических правил, чтобы поверить, что эта девочка учится не по принуждению, но по собственному желанию. Но глаза газели с еще большим интересом впивались в учительницу, когда та заводила речь о господине Вульфране и особенно о событиях, мало известных Перрине, или же рассказывала что-нибудь новое, о чем девочка раньше и не подозревала.

Не раз спрашивала Перрина у Розали, каким образом ослеп господин Вульфран и насколько серьезна была его нынешняя болезнь, и всегда получала довольно неопределенный ответ. Мадемуазель Бельом, часто говорившая об этом с доктором Рюшоном, не только подробно описала ей всю историю его болезни, но даже сообщила, что еще не потеряна надежда возвратитть ему зрение при помощи операции. Если операцию до сих пор не делали, то только потому, что этого не позволяло общее состояние его здоровья. Необходимо прежде всего устранить причины нравственных страданий пациента, и тогда успех операции обеспечен. А это не так-то легко исполнить. Господин Вульфран очень трудный больной; он совсем не бережет себя и не исполняет предписаний доктора: тот не велит ему волноваться, а господин Вульфран из-за этих розысков исчезнувшего сына вечно словно в лихорадке, от которой если и может что вылечить, так только работа. Пока не будут окончены розыски сына, об операции нечего и думать.

### Глава XXXIII

Известия, приходившие из Дакка, из Дэра и из Лондона, противоречили одно другому, особенно относительно событий за последние три года, и еще более запутывали дело. Но все

это вовсе не обескураживало самого господина Вульфрана, не терявшего надежды не только найти следы, но и вернуть сына.

— Самое трудное сделано, — часто повторял он, — нам удалось узнать даже о том, что происходило больше двенадцати лет тому назад, а теперь-то мы его найдем. Правда, искать трудно, но тем приятнее будет добиться желанной цели.

Слова мадемуазель Бельом относительно болезни господина Вульфрана глубоко запечатлелись в памяти Перрины. Раньше она только слепо исполняла то, что говорил ей старик, но с этого времени стала ухаживать за ним, как сестра милосердия, окружая его самыми нежными заботами. В сырые, дождливые дни верх фаэтона обязательно поднимался, и господин Вульфран надевал пальто, которое, вместе с кашне, на всякий случай всегда теперь ремнями привязывалось к передку экипажа; в холодные вечера окна столовой и кабинета всегда наглухо запирались той же заботливой рукой; обход фабрик делался теперь медленными, размеренными шагами, так как, по словам учительницы, быстрая ходьба могла вызвать припадки кашля и даже сердцебиения. Тот же режим соблюдался и во время прогулки. Первое время господин Вульфран пытался сопротивляться всем этим мерам, но потом незаметно подчинился, и ему, по-видимому, даже нравилась такая заботливость преданной девочки.

Однажды вечером, гуляя пешком по деревне, они встретили мадемуазель Бельом, которая сочла своим долгом подойти и сказать несколько приветственных слов. Прощаясь, она проговорила, улыбаясь:

— Оставляю вас под охраной вашей Антигоны.

Перрина сейчас же спросила господина Вульфрана, кто такая была эта Антигона, но, оказалось, что и он знал не больше ее. Немного позже, во время урока, она спросила об этом мадемуазель Бельом, и та не только рассказала ей, но и заставила прочесть переложенного для юношества «Эдипа в Колоне». После ужина, в кабинете, где они обычно проводили вечерние часы, Перрина снова перечитала трогательную историю, которая очень понравилась ее слепому слушателю.

— Да, это верно, — проговорил Вульфран, — но ты для меня даже больше, чем Антигона, потому что Эдип был для нее не чужой, а родной отец.

Взволнованная Перрина молча взяла руку старика и поцеловала ее.

— Спасибо тебе, добрая девочка, — продолжал он, глядя ее по головке, — ты останешься с нами, если даже вернется мой сын; я расскажу ему все, что ты для меня сделала.

— Я так мало значу для вас, хотя мне и хотелось бы сделать многое...

— Впрочем, я уверен, что и он отнесется к тебе так же, как и я; мой сын ведь очень хороший, сердечный человек.

Перрина давно уже собиралась спросить у господина Вульфрана, как мог он расстаться с сыном, которого так горячо любил, но каждый раз волнение не давало ей говорить, хотя разрешение этого вопроса и имело для нее громадное значение.

Но в этот вечер она почувствовала в себе прилив какой-то особенной храбрости и решила заговорить об этом.

— Не позволите ли вы мне, — робко, дрожащим голосом начала она, — спросить вас о том, о чем я давно уже думаю и никак не могу дать себе ответа?

— Говори.

— Как же вы могли расстаться с сыном, которого так любите?

— Тебе это трудно будет понять, потому что ты еще ребенок. Я всегда любил и теперь очень люблю моего сына, но долг отца заставил меня подвергнуть его этому наказанию: нужно было показать ему, что моя воля для него закон. У него начали проявляться дурные наклонности, которые могли иметь самые пагубные последствия. Я отправил его на короткое

время в Индию в качестве представителя моего торгового дома, чтобы не оскорбить его самолюбия и дать ему возможность одуматься и исправиться. Мог ли я предполагать, что он влюбится там в эту девушку и затем женится на ней без моего согласия? Разумеется, я не мог признать ее своей дочерью и запретил сыну приезжать ко мне, пока он не расстанется с ней.

— Но если вы не желали принять сына после брака, почему хотите найти и вызвать его сюда теперь?

— Да просто потому, что теперь изменились обстоятельства. За эти тринадцать лет мой сын, я думаю, достаточно успел сознать все безрассудство своего поступка и сам, наверное, ждет только первого удобного случая расстаться с этой женщиной. Потом и здесь все сильно изменилось; здоровье мое заметно пошатнулось, я болен, ослеп, и вернуть мне зрение можно будет только тогда, когда я окончательно успокоюсь. Ну, скажи теперь, пожалуйста, неужели мой сын, как только узнает обо всем этом, не бросит ради меня эту женщину, которой, впрочем, вместе с ее Дочерью, я обеспечу не просто безбедную, но богатую жизнь. Если я люблю моего сына, так поверь, и он любит меня не меньше и приедет, как только узнает правду, а он узнает все во что бы то ни стало.

— А если он любит свою жену и дочь?

— Я запрешу ему думать о них, и он бросит все и приедет.

— Разве можно запретить любить кого-нибудь? Я любила моего отца не потому только, что мне приказывали любить его, а потому, что считала его лучшим из людей, человеком, который и меня любил больше всех остальных детей, может быть, гораздо лучших, чем я. Я его любила всегда, любила и тогда, когда он играл со мной, целовал меня, рассказывал мне разные истории, нянчился со мной, как с маленьким ребенком; любила его и тогда, когда работа заставляла его уходить от меня и молча заниматься своим делом; любила его, когда он лежал больной, умирающий, и, кажется, еще больше люблю его теперь, хотя и знаю, что больше уже не увижу его. Так же сильно любил и он меня и мою мать, и вовсе не потому, что кто-нибудь позволял или запрещал ему это.

— Что же ты хочешь этим доказать?

— Простите меня, я, может быть, говорю и бессмыслицу, но я говорю то, что сама думаю и чувствую.

— Поэтому-то я и слушаю тебя, и вижу, что, несмотря на всю твою неопытность, ты говоришь так, как и следует говорить хорошей девочке.

— Тогда, сударь, я буду продолжать. Своими словами я хотела доказать, что если вы любите своего сына и хотите, чтобы он был при вас, то и он тоже имеет право любить свою дочь и желать не расставаться с нею.

— Он не имеет права и не станет даже колебаться, кого выбрать: дочь или отца. Впрочем, в Индии девушки рано выходят замуж, а с богатым приданым, которое я дам этой маленькой индуске, она легко найдет себе жениха; тогда ему все равно придется расстаться с дочерью, потому что она должна будет жить с мужем. Потом, когда Эдмонд уезжал в Индию, состояние мое было далеко не таким громадным, как теперь. Когда он узнает, — а я постараюсь, чтобы он узнал, — какое его здесь ждет положение во главе промышленности всей страны, какая широкая будущность открывается перед ним, то маленькой индуске не удержать его.

— Но эта маленькая индуска, может быть, уже вовсе не так плоха, как вы себе представляете.

— Индуска-то?

— В книгах, которые я вам читала, сказано, что индусы в целом гораздо красивее европейцев.

— По-моему, это просто фантазия путешественников.

— Однако же все они говорят, что индусы очень стройны, гибки и грациозны, с безупречным овалом лица и прекрасными, глубокими глазами; они же называют индусов честными, трудолюбивыми и необыкновенно кроткими и терпеливыми людьми, которые к тому же отличаются большими умственными способностями.

— Как ты хорошо запомнила!

— Разве не следует запоминать то, что читаешь? Из всего того, что я вам читала, вовсе нельзя сделать вывод, что маленькая индуска не умна или безобразна, как вы предполагаете.

— Мне-то какое дело? Я ведь все равно никогда ее не увижу!

— Но если бы вы захотели узнать ее, может быть, она заинтересовала бы вас, и вы полюбили бы ее...

— Никогда! При одной мысли о ней и ее матери я прихожу просто в бешенство.

— Если бы вы знали ее... может быть, ваше раздражение не было бы таким...

Старик с гневом сжал кулаки; Перрина испуганно вздрогнула, но тем не менее продолжала:

— Я хотела сказать, что, может быть, она окажется совсем не такой, какой вы ее себе представляете, потому что отец Фильдэс пишет, что мать этой девочки была женщина умная, добрая, красивая, развитая...

— Отец Фильдэс совсем не знал той, о которой писал.

— Зато он все это сообщает со слов людей, знавших ее, а мнение большинства в этом случае значит гораздо больше, чем мнение одного лица. Наконец, если бы вы приняли ее к себе, разве не лучше бы стала она заботиться о вас, чем я?

— Не говори против себя!

— Я говорю только правду.

— Правду?

— Да, по крайней мере, так, как я это понимаю.

Затем, сложив руки, точно слепой мог ее видеть, Перрина проговорила взволнованным голосом:

— Ах, сударь! Неужели вам не хочется иметь возле себя любящую внучку?

Господин Вульфран вдруг выпрямился во весь свой рост.

— Я уже тебе сказал, что она никогда не будет моей внучкой. Я ненавижу ее так же, как и ее мать: они отняли у меня сына и держат его возле себя... Если бы не они, разве он не был бы уже давно здесь, со мной? Разве не из-за них поссорился он так со своим отцом?

Он говорил пылко, отрывисто, ходя большими шагами по комнате. Перрина еще ни разу не видела его в таком гневе. Вдруг он остановился перед ней и суровым голосом сказал:

— Иди в свою комнату и никогда, слышишь, никогда не затрагивай больше этого вопроса! Да и какое ты имеешь право вмешиваться в мои семейные дела? Кто это подучил тебя заговорить со мной об этом?

— О, никто, клянусь вам! Я спросила и говорила вам только то, что подсказывало мое сердце... Я по себе судила и о вашей внучке.

— Если ты не хочешь со мной рассориться, никогда больше не заговаривай со мной о них... мне это тяжело, и тебе не следует меня раздражать... — уже более мягким тоном промолвил старик.

— Простите меня, — прошептала Перрина, едва сдерживая готовые вырваться рыдания, — разумеется, мне следовало молчать.

— Тем больше, что все эти разговоры ровно ни к чему не приведут и ничего не изменят.

## Глава XXXIV

Дэра было последнее место, откуда удалось получить более или менее подробные сведения о пропавшем; дальше следы терялись, несмотря на самые тщательные розыски. Чтобы восполнить этот пробел, по распоряжению господина Вульфрана, были разосланы объявления в наиболее распространенные газеты Калькутты, Дакка, Дэра, Бомбея и Лондона, а затем Каира, Александрии и Константинополя, так как в одном из писем говорилось о планах Эдмонда отправиться в Египет или Турцию. Сорок ливров награды обещалось тому, кто сделает хоть самое незначительное, но верное сообщение об Эдмонде Пендавуане,

причем, во избежание какой-нибудь мошеннической проделки, все подобного рода известия предлагалось адресовать не владельцу марокурских фабрик, а одному банкиру в Амьене, который уже передавал письма по назначению.

Писем поступало множество, главным образом от различных контор и агентов, предлагавших свои услуги для розысков и просивших не замедлить с высылкой денег на расходы; все они, конечно, обещали верный успех в самое ближайшее время, а на деле стремились только сорвать более или менее крупный куш.

Всю эту корреспонденцию читала и переводила Перрина, в обязанности которой входило знакомить хозяина Марокура с содержанием каждого письма. Господин Вульфран внимательно слушал чтение письма или перевода и неизменно повторял:

— Что делать, опять неудача. Подождем, а пока будем делать объявления. Только так и можно будет добиться какого-нибудь результата.

Наконец, пришло письмо, заслуживавшее того, чтобы на него обратили серьезное внимание. Неизвестный из Сараево в Боснии писал, что если помещенная в одной из английских газет публикация верна и заинтересованные лица согласятся перевести на имя банкира в Сараево обещанные сорок ливров награды для выдачи автору настоящего письма, то им немедленно будут представлены сведения о господине Эдмонде Пендавуане, относящиеся к ноябрю прошлого года. О согласии на это предложение просили написать по адресу: «Сараево, до востребования, № 917».

— Ну, что, разве я не был прав? — весело проговорил господин Вульфран, обращаясь к Перрине. — С ноября прошло не так-то много времени... теперь мы быстро его найдем...

В этот день, едва ли не в первый раз с тех пор, как начались розыски, он заговорил о своем сыне с племянниками и Талуэлем.

— Наконец я могу вам сообщить радостную новость: сегодня я получил сообщение об Эдмонде; он был в Боснии в ноябре месяце.

Вечером он приказал Перрине достать в библиотеке книги о Боснии, стараясь по ним понять причину, ради которой его сын мог забраться в эту страну, где так мало развиты торговля и промышленность.

— Может быть, он там был только проездом, — заметила Перрина.

— Я тоже так думаю, и это еще больше подает мне надежду на его скорое возвращение сюда. По всей вероятности, он едет один, без жены и дочери; в Боснии им делать нечего, и они, надо думать, расстались с моим сыном гораздо раньше.

Перрина не возражала, хотя ей и очень хотелось высказаться; это рассердило старика.

— Что же ты молчишь? Ты ведь отлично знаешь, что я хочу знать все, что ты думаешь.

— В одном случае вы этого требуете, а в другом запрещаете: поэтому-то я и боюсь высказывать свои мысли, тем более что вы запретили мне говорить с вами об... об этой девочке... и ее матери... и я вовсе не хочу, чтобы вы на меня за это сердились.

— Я не буду сердиться; скажи мне, почему ты думаешь, что они тоже были с ним в Боснии?

— Во-первых, потому, что Босния вовсе не недоступная страна, в особенности для женщин, путешествовавших по горам в Индии, где людям грозит гораздо больше опасностей, чем на Балканских горах; а потом, если господин Эдмонд был в Боснии только проездом, то почему бы жене и дочери не сопровождать его, когда во всех письмах сообщается, что они всюду следовали за ним? Наконец, у меня явилась еще одна мысль, но я не смею сказать... боюсь расстроить вас...

— Не бойся, говори прямо...

— Только потому, что в ноябре месяце господин Эдмонд был в Сараеве, вы уверены, что он должен вернуться сюда... скоро?

— Разумеется.

— А между тем его могут и не отыскать.

— Я не допускаю этого.

— Мало ли какие причины могут помешать ему вернуться... Разве не может он

исчезнуть?

— Исчезнуть?!

— А что, если он опять вернулся в Индию... или уехал куда-нибудь в другое место, или же, наконец, переселился в Америку?

— Все твои «или» ни на чем не основаны.

— Конечно, сударь... я и сказала это только потому, что никогда не следует...

— Ну!

— Ну, просто потому, что не следует очень надеяться на то, что может и не сбыться... Не волнуйтесь, сударь, умоляю вас! Со дня получения письма из Сараева вы начали сильнее кашлять и задыхаться, лицо ваше поминутно краснеет... Что же будет дальше, если ответ придет не скоро или будет... не такой, как вы хотите? Вы так уверены заранее, что я не могу не беспокоиться... Так тяжело переносить эти удары, когда надеешься на лучшее, и вдруг оказывается... Ах, я сама испытала это! Отец мой умер в тот самый день, когда и я, и мама, после долгих страхов, стали наконец надеяться на его скорое выздоровление... он не перенес кризиса... Мы просто обезумели от горя... Этот жестокий удар, я уверена, убил и мою маму... она не вынесла его, и через шесть месяцев я похоронила и ее... Вот поэтому-то я и говорю...

Но она так и не закончила последней фразы. Из глаз ее брызнули слезы, горло словно сдавило, и рыдания огласили комнату.

— Полно, полно, старайся не думать об этом, моя бедная девочка, — проговорил старик. — И все-таки, по-моему, нет никаких оснований ожидать одного дурного только потому, что к тебе так жестока была судьба; думать так было бы даже грешно...

Перрина поняла, что слова ее не произвели никакого действия на господина Вульфрана; ему хотелось, чтобы сын вернулся, и он был уверен, что это так и будет, что бы там ни думали и говорили другие. И девочка с тоской спрашивала себя, что же будет с ним, когда придет письмо от амьенского банкира с ответом из Сараева.

Но вместо письма приехал сам банкир.

Ему не раз уже приходилось бывать в Марокуре, и он без труда нашел кабинет господина Вульфрана; здесь у двери он приостановился на минуту, точно обдумывая предстоящий разговор.

Но чуткий слух слепого уже доложил ему о посетителе, и из кабинета в ту же минуту послышался его голос:

— Войдите!

Больше медлить было нельзя, и банкир вошел в кабинет, приветствуя хозяина:

— Здравствуйте, господин Вульфран.

— Вы в Марокуре?

— Да, сегодня утром у меня было дело в Пиккиньи, и я завернул к вам, чтобы лично сообщить вам известия из Сараева.

Занимавшаяся за своим столом Перрина, хотя и не слышала имени прибывшего, все же сразу поняла, кто он такой. Страх сковал ей члены, и она осталась сидеть на своем месте.

— Ну? — спросил господин Вульфран голосом, полным нетерпения.

— К сожалению, известия эти вовсе не такие, как вы предполагали и как надеялись мы все.

— Предлагавший свои услуги оказался негодяем?

— Нет, по-видимому, это честный человек.

— Он ничего не знает?

— Напротив, доставленные им сведения слишком верны, к несчастью...

— К несчастью!?

Наступило молчание. По лицу старика видно было, как сильно он был взволнован.



— Значит, ничего не удалось узнать, что было с Эдмондом после ноября? — спросил он.

— Да, нового ничего нет.

— Но какие же получены вами известия?

— Позвольте мне прочесть вам официальные документы, засвидетельствованные французским консулом в Сараеве, — вынимая бумаги из своего портфеля, ответил банкир.

— Ах, да не томите же вы меня! Говорите, что вы узнали?

— В начале ноября прошлого года господин Эдмонд прибыл в Сараево в качестве фотографа. Он путешествовал в повозке вместе с женой и дочерью. В течение нескольких дней он фотографировал желающих на городской площади. Неделию спустя он покинул Сараево и направился в Травник... заболел... и прибыл уже больным в одну деревню, расположенную между этими двумя городами...

— Боже мой! — скорее простонал, чем проговорил старик. — Боже мой, боже мой!

— Вы человек с твердым характером...

— Да неужели же? Значит, мой сын...

— Мужайтесь, вам придется услышать страшную истину... Седьмого ноября... господин Эдмонд... умер в Бузовиче от воспаления легких.

— Не может быть!

— Увы! То же подумал и я, когда получил письмо от того человека со всеми документами, перевод которых, впрочем, засвидетельствован французским консулом; но тут же приложено и засвидетельствованное удостоверение о смерти Эдмонда Пендавуана, рожденного в Марокуре-на-Сомме, тридцати четырех лет от роду. Не правда ли, это весомое доказательство? Но, чтобы не было никакого сомнения, я вчера же, как только получил эти бумаги, телеграфировал нашему консулу в Сараево, и вот его ответ: «Документы верны, смерть удостоверена».

Но господин Вульфран уже не слышал, что говорил банкир; погрузившись в свое кресло, он сидел, весь как-то согнувшись, с головой, склоненной на грудь, точно это был уже не живой человек.

Перрина была в отчаянии, решив, что он умер, как вдруг старик поднял голову. Лицо его было залито слезами, потоками струившимися из незрячих глаз; вслед за тем вытянутая рука нажала одну за другой три пуговки электрических звонков, проведенных в бюро Талуэля, Теодора и Казимира.

Минуту спустя все трое уже были в кабинете.

— Вы здесь? — спросил господин Вульфран. — Я только что узнал о смерти моего сына. Талуэль, остановите везде работы на два дня и объявите, что завтра будут отслужены заупокойные мессы в церквях Марокура, Сен-Пипуа, Бакура и Флекселля.

— Дядюшка! — в один голос воскликнули оба племянника.

Но он жестом остановил их.

— Оставьте меня, я хочу быть один.

Все вышли, за исключением Перрины.

— Орели, ты здесь? — спросил господин Вульфран.

Ответом ему было рыдание.

— Пойдем в замок.

Как всегда, он положил руку на плечо Перрины, и таким образом пробрались они сквозь толпы рабочих, покидавших мастерские, и через деревню направились к замку. Печальная новость стала уже известна всем. Повсюду шли толки — как-то перенесет хозяин этот удар, уже и теперь согнувший его до неузнаваемости.

Те же мысли бродили и в голове Перрины, которая по дрожанию лежавшей на ее плече руки ясно представляла себе, что происходит теперь в душе господина Вульфрана, хотя он и

не произносил ни слова.

Когда они вошли в кабинет, старик отпустил Перрину, молвив:

— Скажи там, что я хочу быть один, и пусть никто не входит и не разговаривает со мной.

А затем, когда Перрина уходила, прибавил:

— А я еще не хотел верить тебе...

— Если бы вы только позволили мне...

— Оставь меня! — сказал он сурово.

## Глава XXXV

Ночью замок был полон движения и шума. Это собирались родственники почтить память умершего; из Парижа приехала госпожа Пендавуан, которой печальную новость сообщил Теодор; из Булони прибыла госпожа Бретоннэ, узнавшая о том же из телеграммы Казимира, и, наконец, из Руана и Дюнкерка появились обе ее дочери с мужьями и детьми. Все они считали своим долгом принять участие в заупокойных молитвах «о бедном дорогом Эдмонде, которого все они так любили».

Перрина ожидала, что рано утром дамы зайдут к ней в комнату, но этого не случилось. Да и зачем им было это? Что бы такое могла она сделать, на какую услугу можно было бы рассчитывать? Здесь собрались ближайшие родственники господина Вульфрана, которым нет надобности обращаться к какой-то там девочке без роду без племени, из милости взятой в дом; они — наследники и без ее содействия будут они хозяевами Марокура.

Не позвал Перрину и господин Вульфран, чтобы сопровождать его в церковь, как это бывало обыкновенно по воскресеньям. С первым ударом колокола к подъезду подали несколько экипажей; в первом из них поместился сам хозяин вместе с сестрой и невесткой; в другие сели остальные члены семьи.

Едва выехал за ворота последний экипаж, как вслед за ним, но только пешком, направилась в церковь и Перрина, спешившая не опоздать к началу обедни.

В церкви, где, как думала девочка, ей едва ли удастся протиснуться сквозь густую толпу молящихся, народу собралось очень и очень немного; семейство господина Вульфрана поместилось на хорах, а внизу стояли представители деревенской и фабричной администрации, кой-кто из торговцев, имевших непосредственные сношения с фабрикой, и, как исключение, несколько человек рабочих с женами и детьми.

Обыкновенно по воскресеньям Перрина занимала место рядом с господином Вульфраном, но теперь она не рискнула идти туда же и поместилась возле Розали, явившейся в церковь вместе с бабушкой, которая была в глубоком трауре.

По окончании панихиды, когда все выходили из церкви, к Перрине подошла мадемуазель Бельом.

— Вы пойдете пешком? — спросила она.

— Да.

— Тогда пойдете вместе до школы.

Перрине хотелось идти одной, но она не решилась отказать учительнице и пошла рядом с ней.

— Знаете, о чем я думала, когда смотрела на господина Вульфрана? Когда он молился, мне все казалось, что он опустится на колени, поклонится и больше уже не встанет. Этот удар его сразил, и, право, я даже порадовалась, что он слеп.

— Почему?

— А потому, что он не видел, как мало было народу в церкви: равнодушные рабочих только усилило бы его душевную горе.

— Да, их было очень мало, это правда.

— Но он-то этого, по крайней мере, не видел.

— А вы уверены, что он не заметил этого по безмолвной тишине, царившей в церкви? Слух очень часто заменяет ему зрение.

— Это было бы для него новым потрясением... несчастный человек... но, вместе с тем, и большим уроком, потому что мы можем требовать от других участия к нашему горю только тогда, когда сами мы принимаем участие в их скорбях или в страданиях... А господин Вульфран совсем забывал об этом... Он делал для рабочих только то, что он обязан был делать, относясь ко всем одинаково и справедливо... но быть только справедливым — это все равно, что ничего не делать для другого, для своего ближнего... Очень и очень жаль, что господин Вульфран до сих пор ни разу не подумал иначе о своих рабочих, для которых он мог бы сделаться гением добра, вторым отцом, которого бы они действительно любили... и будь это так... поверьте, нам не пришлось бы с вами увидеть сегодня... того, что мы увидели...

Хотя Перрина и не совсем ясно поняла, что именно хотела сказать мадемуазель Бельом, но ей тяжело было слышать упрек господину Вульфрану, да еще от такой особы, как учительница, которую она так уважала и любила, к которой так горячо успела привязаться.

У дверей школы она стала прощаться.

— Не хотите ли зайти позавтракать вместе? — предложила мадемуазель Бельом, предполагая, и не без основания, что едва ли ее ученица займет место за семейным столом в такой день.

— Очень вам благодарна, но я, может быть, понадобится господину Вульфрану.

— Тогда, конечно, идите. До свидания.

В замке Перрина узнала, что господин Вульфран, вернувшись домой, заперся в своем кабинете и никому не велел входить.

— Даже и позавтракать не захотел со своими родными, — добавил Бастьен.

— А они остаются?

— О, нет! После завтрака все уезжают, и я думаю, что он не выйдет даже проститься с ними. Он совсем убит! Господи, господа! Что-то будет! Помогите нам, милая барышня.

— Что же я могу сделать?

— Очень много. Господин Вульфран так любит вас, так доверяет вам.

— Любит меня?!

— Поверьте, я знаю, что говорю.

После завтрака все разъехались. Поздно вечером Бастьен передал Перрине приказание быть готовой завтра утром выехать с господином Вульфраном в обычное время.

— Он хочет приняться за работу, но только хватит ли у него сил? А между тем это было бы самое лучшее: работать — для него значит жить.

Утром, в назначенный час, Перрина была уже в передней, поджидая господина Вульфрана, который не замедлил появиться в сопровождении Бастьена, молча сделавшего девочке знак, что хозяин его тяжело провел ночь.

— Орели здесь? — спросил старик сильно изменившимся голосом, жалобным и слабым, как у больного ребенка.

— Я здесь, сударь, — отвечала Перрина, подходя к слепому.

— Поедем.

В экипаже он сидел, согнувшись, уронив голову на грудь и не произнося ни слова. Так подъехали они к конторе, где на последней ступеньке лестницы стоял Талуэль, поспешно бросившийся к экипажу, чтобы помочь хозяину выйти.

— Мне кажется, что вы собрались с силами, чтобы приехать сюда? — грустным тоном проговорил директор.

— Да, я чувствую себя совсем слабым и приехал только потому, что считаю это необходимым.

— Я именно это и хотел сказать.

Но господин Вульфран не стал его слушать и, подозревая Перрину, велел ей проводить себя в кабинет, где сразу началась разборка писем, которых за эти два дня набралась масса; хозяин, против обыкновения, не принимал никакого участия в просматривании корреспонденции; согнувшись, сидел он в своем кресле, как глухой, и, казалось, спал.

Когда все письма были рассмотрены, директор и племянники, стараясь производить как можно меньше шума, вышли из кабинета, в котором осталась только одна Перрина.

Но старик, казалось, и не замечал, что служащие ушли; погруженный в свои думы, он по-прежнему сидел, согнувшись, в кресле, ничего не видя и не слыша. Вдруг он выпрямился, обеими руками закрыл лицо и голосом, полным горя и страдания, скорее простонал, чем проговорил:

— Боже мой, боже мой!.. За что ты так жестоко наказываешь меня!.. Господи, помоги мне!

И вслед за тем он еще более сгорбился, еще ниже опустил голову на грудь. Это уже не был славившийся и гордившийся непреклонной волей и твердостью характера владелец Марокура, — теперь в кресле сидел убитый горем, беспомощный старик, и, пожалуй, прав был Талуэль, когда говорил Перрине, что удар, может быть, так силен, что свалит его окончательно...

## Глава XXXVI

В продолжение нескольких дней жизнь господина Вульфрана висела на волоске; управление фабриками в течение всего этого времени всецело находилось в руках торжествующего Талуэля.

Наконец организм поборол болезнь, и старик начал выздоравливать, но его душевное состояние осталось прежним, и оно-то всего больше беспокоило доктора.

Перрина не раз старалась заговорить с Рюшоном о господине Вульфране, но доктор ограничивался односложными, ничего не значащими ответами, — может быть, потому, что считал Перрину почти ребенком, который его едва ли поймет. Зато он гораздо откровеннее был с Бастьеном и мадемуазель Бельом, от которых девочка и узнавала все, что ей было нужно.

— Жизни опасность не грозит, — говорил старый слуга, — но доктор очень желал бы, чтобы хозяин принялся за работу.

Мадемуазель Бельом была далеко не так лаконична и, приходя на урок, слово в слово передавала своей ученице то, что ей говорил доктор, с которым она встречалась почти ежедневно и, конечно, как и все в деревне, непременно заводила речь о господине Вульфране; но все эти беседы всегда сводились к одному и тому же:

— Тут нужен какой-нибудь сильный толчок, что-нибудь такое, что потрясло бы его и отвлекло бы его мысли. Организм его пока не надломлен, и при удаче все могло бы еще поправиться настолько, что, пожалуй, можно было бы рискнуть даже сделать операцию.

С возвращением физических сил возобновились и ежедневные объезды фабрик, которые, как и прежде, старик совершал вместе с Перриной; но теперь он всю дорогу большей частью молчал, лишь изредка отвечая на замечания своей спутницы, с которыми она иногда позволяла себе обращаться к нему. Доклады директоров выслушивались очень невнимательно, и на них он почти всегда отвечал советом поговорить об этом с Талуэлем.

Перрина начинала приходить в отчаяние и думала, что апатия эта так никогда и не пройдет.

Но вот однажды, после полудня, когда они подъезжали к Марокуру, возвращаясь с объезда фабрик, в воздухе разнесся звук сигнального рожка.

— Стой! — воскликнул господин Вульфран. — Это, кажется, сигнал пожара.

Экипаж остановился; теперь резкие Звуки рожка слышались уже ясно.

— Да, это пожар. Ты видишь что-нибудь?

— Клубы черного дыма.

— Что горит?

— Из-за деревьев хорошо не видно.

— Справа или слева?

— Скорее в той стороне, где фабрика. Пустить Коко полной рысью?

— Нет, только немного поскорей.

По мере приближения к Марокуру звуки рожка доносились все отчетливей, но теперь уже можно было различить, что горит не фабрика, а что-то среди деревни, так как дым поднимался именно оттуда.

— Не спешите, господин Вульфран, — крикнул им встретившийся крестьянин, когда они уже въехали в деревню, — это не у вас... горит домик Тибурсы.

Тибурса была старая женщина, следившая днем за детьми, которых по малолетству нельзя еще было определить в приют; жила она недалеко от школы, в маленькой, грязной, полуразрушенной избушке, выстроенной где-то на задворках.

— Поезжай туда! — приказал господин Вульфран.

Перрина повернула лошадь, направив ее вслед за бежавшими на пожар людьми. Скоро стал виден не только дым, но и пламя, красными языками подымавшееся над домами, и в воздухе запахло гарью. Толпа была так велика, что ехать было уже нельзя из боязни раздавить кого-нибудь из любопытных, сбившихся в одну общую массу. Старик приказал остановиться, вышел из экипажа и в сопровождении Перрины пешком направился к горящему дому; здесь их встретил Фабри в блестящей пожарной каске: именно он командовал пожарными из фабричных.

— Нам удалось одолеть огонь, — доложил он господину Вульфрану, — но дом сгорел целиком, и погибло несколько детей.

— Отчего произошел пожар?

— Старая Тибурса, по обыкновению, заснула, а дети постарше начали играть со спичками. Когда внутри загорелось, они в испуге выскочили из дома; то же сделала и обезумевшая от страха Тибурса, позабыв захватить маленьких детей.

Немного спустя они отправились в бюро, куда вскоре после этого явился и Талуэль, сообщивший господину Вульфрану, что многие дети нашлись у соседей, к которым их отнес кто-то и затем, под влиянием охватившей всех паники, забыл об этом. Таким образом погибло лишь двое детей, погребение которых назначили на завтра.

Когда Талуэль ушел, молчавшая до сих пор Перрина решила вдруг заговорить с господином Вульфраном.

— Вы не думаете быть на этих похоронах? — дрожащим от волнения голосом спросила она.

— Зачем? Разве были мои рабочие на панихиде по моему сыну?

— Они не пришли разделить с вами ваше горе, а вы сочувствуете им в постигшем их несчастье; это было бы ответом, который все они прекрасно поймут.

— Ты еще не знаешь, до какой степени неблагодарны рабочие.

— Они неблагодарны вам за деньги, которые вы им платите, потому что они их зарабатывают; поверьте мне, сударь, что их тронет ваше участие в их горе: денежная помощь не то, что сердечное сочувствие.

Старик молча выслушал Перрину, не сделав ни одного замечания, словно не придавая никакого значения тому, что говорила его маленькая спутница; но вечером, когда они, возвращаясь в замок, проходили по веранде, слепой остановился и подозвал директора.

— Пошлите сказать священнику, что расходы по погребению детей я беру на себя, и

попросите его, чтобы служба происходила как можно торжественней. Я сам буду в церкви.

Талуэль просто окаменел от изумления.

— Объявите также, — продолжал господин Вульфран, — что всем желающим быть завтра в церкви дается отпуск; этот пожар большое несчастье.

Но это было только начало. На другой день, когда после обычной разборки корреспонденции служащие стали расходиться, господин Вульфран попросил Фабри остаться.

— Есть у вас теперь срочная работа на фабриках?

— Нет, сударь.

— Тогда съездите в Руан. Я узнал, что там устроены образцовые детские ясли, в которых использовано все лучшее из того, что только есть. Я прошу вас подробнее изучить организацию этого дела: самое устройство, систему отопления и вентиляции, определить, какой потребуется первоначальный расход и каково будет ежегодное содержание их. Потом узнайте у лица, устроившего их, какие ясли были взяты им за образец, и изучите их. Только, пожалуйста, сделайте все это как можно скорее: я хочу, чтобы не позже, как через три месяца, можно было открыть ясли при каждой из моих фабрик. Не дай бог, чтобы еще раз повторилось подобное несчастье! Я надеюсь на вас.

Вечером, во время урока, едва успела Перрина рассказать учительнице об утреннем событии, в библиотеку вдруг вошел господин Вульфран.

— Мадемуазель Бельом, — сказал он, — я пришел просить вас от своего имени и от имени всего здешнего населения оказать нам услугу, значение которой для нас будет неизмеримо, но которая потребует и с вашей стороны большой жертвы. Дело вот в чем: я намерен устроить при каждой из моих фабрик ясли и прошу вас принять на себя заведывание ими. Лучшей руководительницы для такого важного дела я не могу найти.

В подобных просьбах не отказывают, и как ни тяжело было мадемуазель Бельом расстаться со своей школой, она должна была согласиться, хотя жертва с ее стороны была действительно велика.

— Нечего делать, я согласна. Но вели бы вы знали, как трудно мне расстаться со школой!

— Школа дает детям многое, очень многое, — возразил господин Вульфран, — но сохранить им жизнь и здоровье, по-моему, гораздо важнее, и вот почему вы не должны отказываться.

— Я и не отказываюсь, хотя заранее знаю, какой тяжелый труд мне предстоит... Я почти не знакома с этим делом, и, чтобы поставить его как следует, надо будет многому поучиться... Ну, да это ничего! Я ваша, ваша всем сердцем, и у меня просто слов не хватает, чтобы выразить вам всю мою признательность, весь мой восторг...

— Если вы говорите о признательности, — перебил ее слепой, — то благодарите не меня, а вашу ученицу, потому что это она чуть не насильно заставила меня обратиться на тот путь, на котором, к стыду моему, я так поздно делаю только первый шаг...

— О, сударь, сделайте же еще несколько шагов! — радостно воскликнула молчаливая до сих пор девочка.

— Куда же надо идти для этого?

— В одно место, куда я вас поведу сегодня вечером.

— Как же ты во всем заранее уверена!

— Ах, если бы я могла быть уверена!

— Так ты сомневаешься во мне?

— Не в вас, а в себе... Но это совсем не относится к моей просьбе пойти со мной туда, куда я вас поведу...

— Но скажи же, куда именно хочешь ты повести меня сегодня вечером?

— В одно место и всего на несколько минут.

— Так неужели же нельзя назвать мне это таинственное место, куда я должен идти?

— Если бы я вам сказала теперь, то на вас не произвел бы никакого действия ночной

визит туда. Сегодня вечером будет тихо и тепло, и вам нечего будет бояться простуды. Согласитесь пойти со мной...

— Ей можно верить... — заметила мадемуазель Бельом.

— Ну, хорошо, я пойду вечером с тобой. В котором же часу отправимся мы в нашу экспедицию?

— Чем позже, тем будет лучше...

В течение вечера господин Вульфран несколько раз заговаривал с Перриной о предстоящей экспедиции, пытаясь вызвать ее на объяснения.

— А знаешь, ты подстрекнула мое любопытство...

— Если бы даже я не достигла ничего другого, то и это было бы уже хорошо... Не лучше разве думать с интересом о будущем, чем сокрушаться о невозвратном прошлом?

— О каком еще будущем могу я мечтать? Для меня впереди нет ничего, кроме горя, одного только горя.

— Нет, сударь, это не так... Подумайте только о том, что можно сделать для других, и у вас появится цель в жизни, появится желание жить, чтобы успеть сделать как можно больше... Начитавшись волшебных сказок, дети часто мечтают о появлении доброй феи, которая может исполнить всё их желания, а вы сами чародей, у вас в руках есть все, чтобы сделать счастливыми тысячи людей...

Так проговорили они до поздней ночи. Наконец Перрина объявила, что пора идти. На дворе было очень тепло, тихо, и только зарницы порой освещали темную синеву неба. Когда они пришли в деревню, там все уже спали.

— Теперь мы перед домиком тетушки Франсуазы, — вдруг произнес господин Вульфран.

— Мы к ней и идем. Теперь я попрошу вас больше ничего не говорить и взять меня за руку. Только предупреждаю вас, что нам придется подниматься по прямой, довольно отлогой лестнице; на последней площадке я отворю дверь в комнату, в которой мы пробудем ровно столько, сколько вы пожелаете, хотя бы одну минуту.

Подойдя к расположенному внутри двора флигелю, они стали подниматься по лестнице, которую Перрина отыскала при свете от вспышек зарницы. Достигнув второго этажа, она открыла дверь, о которой говорила раньше, и тихонько втащила за собой в комнату господина Вульфрана, а дверь заперла.

В темной комнате их охватил удушливый, острый запах. Кто-то из квартирантов проснулся и спросил:

— Кто там?

Перрина пожала старику руку, давая понять, что отвечать не следует.

Затем тот же сонный голос продолжал:

— Будет тебе гулять, Ла-Ноэль. Ложись-ка лучше спать...

Теперь уже сам господин Вульфран рукой подал знак Перрине, что хочет уйти. Девочка открыла дверь, и они стали спускаться вниз по лестнице. Из комнаты вслед им донесся уже не один, а несколько голосов.

— Ты хотела меня познакомить с помещением, где ты провела первую ночь, когда пришла сюда, не так ли? — спросил ее господин Вульфран, когда они были уже на улице.

— Я хотела показать вам одно из многочисленных помещений Марокура и других деревень, где проводят ночи ваши фабричные: мужчины, женщины и дети... Я думала, что, если вы хоть одну минуту подышите этим воздухом, вы узнаете, сколько бедных людей гибнет только потому, что не имеют средств устроиться иначе.

## Глава XXXVII

Прошло тринадцать месяцев с того памятного для Перрины воскресенья, когда она, едва не погибнув в дороге от голода, оборванная, изнуренная, пришла, наконец, в Марокур, куда мать перед смертью велела ей идти и где она сама не знала, что ее ожидает.

Погода в этот день была такая же прекрасная, как и тринадцать месяцев тому назад: так же было тепло, все так же ярко светило солнце; но как Перрина, так и Марокур были уже не те, что прежде...

На опушке леса, на том месте, где бедная сиротка провела вечер первого дня, печально сидя на траве и рассматривая расположенные в долине фабрику и деревню, теперь стояло несколько красивых, высоких зданий с почти уже готовой отделкой. Постройки эти предназначались для рабочих Марокура и окрестных деревень.

В самих фабричных корпусах почти ничего не изменилось; они достигли высшей степени своего развития, и задача владельца сводилась только к тому, чтобы поддерживать все в том же виде.

Но поблизости от главного входа, там, где прежде теснились бедные домишки, занятые двумя детскими приютами, вроде приюта бабушки Тибурсы, виднелась ярко-красная крыша большого роскошного дома, окрашенного в розовый и голубой цвета; это были ясли, в которых дети рабочих находили не только временный приют, пищу и хороший уход, но где их бесплатно одевали и воспитывали до трехлетнего возраста.

Дальше, среди деревни, виднелись красные крыши целого ряда других зданий, тоже почти оконченных, где устраивались и частью уже были устроены столовые, магазины, лавки, а также квартиры для одиноких мужчин и женщин.

Еще дальше шли разбросанные по долине небольшие отдельные домики, новенькие красные крыши и белые стены которых резко выделялись среди расположенных вокруг старых, покривившихся домов; около каждого домика отгорожено было небольшое место для сада, где можно будет разводить фруктовые деревья и сажать овощи, необходимые в домашнем обиходе семейных рабочих, которым предполагалось сдавать такие домики, со всеми принадлежностями, всего за 100 франков в год.

Были перемены и в парке при замке, и на тянувшейся за ним до самых торфяных выемок лужайке. Нижняя часть парка, остававшаяся до сих пор почти в природном диком виде, была отделена от главной части парка небольшим рвом, и посреди ее возвышалось довольно большое деревянное здание и были живописно разбросаны киоски; тут же на лужайке устроены были приспособления для различных игр и развлечений: гимнастические снаряды, кегли, тир для стрельбы из лука, арбалета и ружья, мачты для лазания, круг для велосипедных гонок, театр марионеток и даже эстрада для музыкантов.

Это был сад, куда собирались для развлечений рабочие со всех окрестных фабрик. Постройки были сделаны и во всех остальных деревнях, где находились фабрики господина Вульфрана Пендавуана, но общественный сад имелся только в Марокуре, так как владелец хотел, чтобы рабочие всех фабрик общались между собой и жили одними интересами. Простая библиотека, которая первоначально задумывалась здесь, превратилась в целый сад, где было все, чего только можно было пожелать, и господин Вульфран не мог даже хорошенько сказать, сам ли он это придумал или действовал только под чьим-нибудь влиянием: все вышло для него так неожиданно и так далеко перешло намеченные границы, хотя он, видимо, был очень рад, что это устроилось именно так, а не иначе.

Что касается Перрины, то за это время она успела приобрести расположение Талуэля, открыто перешедшего в ее лагерь после того, как он увидел, что господин Вульфран делает все, что задумает его маленький секретарь; она приобрела настоящих друзей в лице мадемуазель Бельом, Фабри, доктора Рюшона и, наконец, уполномоченных от рабочих, в обязанности которых входило предварительное обсуждение всех проектов и наблюдение за постройками.



В это воскресенье ожидали возвращения Фабри, уехавшего несколько дней тому назад с секретным поручением от господина Вульфрана, о котором слепой никому не говорил ни слова. Утром от инженера была получена из Парижа депеша всего в несколько слов:

«Сведения самые точные; официальные документы; буду в полдень».

Но было уже около часа, а Фабри не ехал, что очень беспокоило господина Вульфрана. Наскоро окончив завтрак, он вместе с Перриной вернулся в кабинет и то и дело подходил к открытому окну послушать, не едет ли экипаж.

— Странно, что его нет до сих пор...

— Может быть, поезд опоздал.

И он снова подходил к окну и снова напряженно слушал. Перрина всеми мерами старалась отвлечь его от окна, так как в саду и в парке в это время шла деятельная работа, и девочке вовсе не хотелось, чтобы старик догадался о ней по шуму: садовники переносили тропические растения и убирали зеленью и цветами весь балкон; цветами и флагами убраны были и все здания в общественном саду.

Наконец, на дороге из Пиккиньи донесся стук колес экипажа.

— Это Фабри, — проговорил господин Вульфран слегка изменившимся голосом, в котором слышались и боязнь и надежда.

Через несколько минут Фабри был уже в кабинете. Он тоже казался сильно взволнованным и, войдя, бросил на Перрину такой странный взгляд, который невольно смутил девочку.

— Поломка паровоза была причиной моего опоздания, — сказал Фабри, поклонившись господину Вульфрану.

— Вы приехали — и это самое главное.

— Я привез такие доказательства, каких вы не могли даже и ожидать.

— Ну, так рассказывайте, рассказывайте скорей!

— Вы желаете, чтобы я говорил при барышне?

— Да, если только добытые вами сведения таковы, как вы говорите.

В этот день Фабри в первый раз спрашивал, можно ли говорить при Перрине.

— Как и предвидел агент, которому вы поручили вести розыски, — начал инженер, не глядя на девочку, — особа, следы которой он терял несколько раз, прибыла в Париж; там, проверяя метрические записи об умерших, нашли за июнь месяц прошлого года запись о смерти Мари Дорессани, вдовы Эдмонда Вульфрана Пендавуана. Вот выписка из книги.

И он вложил бумагу в дрожащие руки господина Вульфрана.

— Угодно вам, чтобы я прочел ее?

— Вы сверяли имена?

— Разумеется.

— Тогда продолжайте ваш рассказ; мы прочтем после.

— Я виделся с владельцем дома, — продолжал Фабри, — в котором умерла эта особа (его зовут Грен-де-Сель), говорил с присутствовавшими при смерти молодой женщины: уличной певицей, известной под именем Маркизы, и старым сапожником, дядей Карасем. Все они подтверждают, что она умерла от полного истощения сил. Я посетил также и лечившего ее доктора Сандриэ, который живет в Шаронне, на улице Риблет; он мне сказал, что предлагал своей пациентке лечь в больницу, но та отказалась, не желая расстаться с дочерью. Наконец, был я в улице Шато-де-Рантэ у тряпичницы Ла-Рукери, с которой виделся только вчера, так как она была в разъездах по деревням.

Фабри на минуту замолчал и, обернувшись к Перрине, с почтительным поклоном сказал:

— Я видел Паликара... он здоров...

Поднявшаяся уже несколько минут тому назад Перрина смущенно вскинула на инженера глаза, из которых потоками струились слезы.

Фабри продолжал:

— Мне оставалось только узнать, что случилось с вашей внучкой. О ней мне рассказала

Ла-Рукери, сообщившая и про свою встречу в лесах Шантильи, где бедного ребенка, умиравшего от голода, разыскал ослик.

— Ну, а ты, — обращаясь к Перрине, спросил глубоко взволнованный господин Вульфран, — не можешь ли ты сказать мне, почему эта девочка, которую ты так хорошо знаешь, не хотела мне назвать себя?

Перрина сделала к нему несколько шагов...

— Как ты думаешь, почему она не хотела обнять...

— Боже мой!

— Обнять своего дедушку?..

## Глава XXXVIII

Фабри тихо вышел, притворив за собою дверь, и дедушка с внучкой остались одни в кабинете.

Старик и девочка, видимо, были сильно взволнованы такой хотя и не неожиданной развязкой; молча держали они друг друга за руки, изредка обмениваясь только полными нежности словами:

— Дитя мое, моя дорогая внучка!..

— Дедушка!

Когда прошло первое волнение и они немного успокоились, господин Вульфран спросил Перрину:

— Отчего ты не хотела назвать себя?

— Ах, разве не пыталась я это сделать много раз? Вспомните, что вы мне ответили в последний раз, когда я начала было говорить о моей матери и о себе! Разве не запретили вы мне раз навсегда напоминать вам о них?

— Но мог ли я подозревать, что ты моя внучка?

— А если бы эта внучка явилась вдруг к вам и назвала себя, стали бы вы слушать ее рассказ и не выгнали бы вы ее вон?

— Еще вопрос, как бы я поступил.

— Вот почему мама советовала мне открыться только тогда, когда я заставлю полюбить себя.

— И ты ждала так долго? Но разве ты не видела, что я давно уже люблю тебя?

— Я не знала, как велика была эта любовь, и боялась очень полагаться на нее.

— И для этого нужно было, чтобы я сам заставил тебя признаться! Но оставим это... Расскажи мне о своем отце... Почему он сделался фотографом? Как попали вы в Сараево?

— Про нашу жизнь в Индии вы уже знаете...

Но он перебил ее:

— Говори мне «ты»: ты рассказываешь своему дедушке...

— Из полученных писем ты уже знаешь, как мы там жили; потом я тебе подробно расскажу все день за днем, и ты увидишь, как отважен был мой отец, сколько мужества выказывала моя мать... потому что, говоря об отце, я не могу не говорить и о матери...

— Знаешь, меня глубоко тронуло то, что она не захотела лечь в больницу, чтобы только не расставаться с тобой... Из-за одного этого я готов полюбить ее...

— О, ты полюбишь, полюбишь ее!

— Ты будешь рассказывать мне о ней, да?

— Я буду рассказывать о ней и заставлю тебя полюбить ее... Но это потом, потом... Наконец, папа решил покинуть Индию и вернуться во Францию... В Суэце у отца пропали деньги... кажется, их у него украли... Больше у нас не было ни гроша, и вместо того, чтобы ехать прямо во Францию, мы отправились в Грецию, проезд до которой стоит очень недорого. В Афинах папа занялся фотографией, — у него был прекрасный фотографический аппарат, — и этим заработком мы и жили... Потом отец купил небольшую фуру, осла Паликара, который спас мне жизнь, и решил вернуться во Францию по суше; дорогой он

рассчитывал зарабатывать деньги фотографией... Бедный папа! Если бы ты знал, дедушка, как мало было охотников заказывать свои портреты, как тяжело было это ужасное путешествие по горам, где приходилось иногда пробираться по едва видимым тропинкам!.. В Бузоваче папа заболел, но я прошу тебя позволить мне не рассказывать сегодня, как он умер... я не могу, не в силах... Когда мы лишились его, мы продолжали путешествие одни... Если невелик был заработок отца, то наш заработок был еще меньше... Потом я расскажу тебе о нашем странствовании по Европе, которое продолжалось с ноября до мая, когда мы, наконец, прибыли в Париж... Фабри уже говорил тебе, как умерла мама у Грен-де-Селя; после я расскажу тебе подробности...

В эту минуту из парка донеслись какие-то крики и шум голосов, точно там собралась целая толпа...

— Что это такое? — спросил старик.

Перрина подошла к окну. Весь парк, до самого летнего помещения рабочего клуба, пестрел оживленными группами рабочих; тут были мужчины, женщины и дети; всего собралось не меньше шести или семи тысяч человек. Над их головами развевались флаги и знамена.

— Я спрашиваю, что там такое? — повторил свой вопрос господин Вульфран, желавший знать причину подобного шума.

— Сегодня твой день рождения, — отвечала Перрина, — и рабочие со всех фабрик пришли сюда, чтобы поздравить тебя и поблагодарить за все, что ты для них сделал.

— А! В самом деле! В самом деле!

И он подошел к окну, точно мог видеть рабочих; ближайшие группы сейчас же заметили его и приветствовали громкими, радостными криками, которые подхватили стоявшие сзади, и скоро веселое «ура» гремело по всему парку.

— Это все благодаря тебе, внучка... Как не похоже это на то, что было во время заупокойной службы... в пустой церкви...

— Дедушка, вот порядок торжества, выработанный советом: ровно в два часа ты выйдешь на парадный подъезд, откуда тебя всем будет видно; депутация, по одному рабочему от каждой из деревень, где у тебя есть фабрики, всходит на крыльцо, и старик Гатой от лица всего нашего населения произнесет небольшую речь...

Как раз в эту минуту часы пробили два.

— Хочешь ты дать мне руку?

Едва они показались на крыльце, как снова послышались громкие приветственные крики, затем делегаты поднялись на крыльцо, и дедушка Гатой, служивший в чесальной с самого основания фабрики, выступил на один шаг вперед, чтобы сказать небольшую речь, которую он все утро старался заучить:

— Господин Вульфран, мы собрались для того, чтобы поздравить вас... для того... чтобы поздравить вас... чтобы вас...

Тут оратор остановился, беспомощно разводя руками; наконец, успокоившись, он заговорил опять:

— Вот так штука! Я должен был сказать вам целую речь, а теперь не могу припомнить ни слова... Мне это очень, очень досадно... Ну, да скажу по-своему, как умею!.. Мы пришли поздравить вас от чистого сердца за всю вашу доброту к нам...

Тут оратор торжественно поднял правую руку.

— Даю вам в этом честное слово старика Гатоя, самого старшего из ваших рабочих!

Эти простые, вырвавшиеся из самого сердца слова глубоко тронули господина Вульфрана. Опираясь на плечо Перрины, он подошел к самой балюстраде и, обращаясь к толпе, громко заговорил:

— Друзья мои, ваши сердечные приветствия тем более приятны мне, что вы приносите их в самый счастливый день моей жизни! Сегодня я, наконец, нашел мою внучку, дочь моего погибшего сына. Вы все ее знаете, видели ее на работах в мастерских, знаете, какое участие принимала она во всем, что теперь делается. Будьте же уверены, что она не остановится на

этом и будет продолжать идти дальше той же дорогой, развивая и совершенствуя то, что мы начали с ней вместе. Ваше будущее, будущее ваших детей находится в хороших руках!

И прежде чем Перрина успела опомниться, он нагнулся к ней, взял ее своими все еще сильными руками, поднял и, показывая народу, поцеловал ее.

Снова загремели радостные приветственные крики, не смолкавшие в течение нескольких минут; голоса мужчин, женщин и детей слились в один общий гул. Затем, как было установлено, началось шествие всей этой тысячной массы мимо крыльца, на котором стояли дедушка и внучка.

— Если бы ты мог видеть, какие у всех добрые, счастливые лица, — несколько раз повторяла Перрина.

Но нельзя было сказать того же про лица племянников, которые по окончании церемонии подошли поздравить кузину.

— Что же касается меня, — проговорил подошедший вместе с ними Талуэль, — мне это казалось с первого же дня.

Все перенесенные господином Вульфраном в этот день волнения временно сказались на его здоровье. Еще накануне дня своего рождения он чувствовал себя очень хорошо: кашель прекратился, аппетит и сон были прекрасные; зато на другой день перемена была очень резка, и казалось, что болезнь вдруг вернулась с новой силой, чтобы окончательно свалить счастливого дедушку. Немедленно вызвали доктора Рюшона.

— Вы понимаете, как я жажду увидеть мою внучку, — сказал ему старик, — помогите же мне как можно скорее и дайте мне возможность перенести глазную операцию.

— Прекрасно! Начните лечиться серьезно, сидите дома, не волнуйтесь, говорите как можно меньше, и я ручаюсь, что через месяц вы будете здоровы, а там можно будет поговорить и об операции.

Предсказание доктора исполнилось, и ровно через месяц вызванные из Парижа доктора нашли общее состояние господина Вульфрана настолько удовлетворительным, что считали возможным приступить к операции.

Врачи хотели поместить господина Вульфрана под наркоз, но он не согласился на это.

— Нет, не надо. Я попрошу мою внучку держать меня за руку, и вы увидите, что это даст мне достаточно силы.

Наконец операция была сделана, но врачи объявили, что дней пять или шесть на глазах будет лежать повязка. Прошли и эти дни, полные тревоги и ожидания. На седьмой день, в полутемной комнате с закрытыми ставнями и опущенными занавесками, повязку сняли. Понятно, что прежде всего старик захотел увидеть свою внучку.

— Ах, если бы я не был тогда слеп! — воскликнул он, глядя на девочку. — Разве я не узнал бы в тебе с первого же раза мою внучку? Где же у всех были глаза, что они не заметили в тебе сходства с отцом? Неужели Талуэль говорил правду, уверяя, что «ему казалось»...

Только через две недели больному разрешили выезжать, сначала обязательно в карете с поднятыми стеклами; но когда господин Вульфран объявил, что поедет не иначе как по-старому, в открытом фаэтоне, доктора разрешили и это, с тем, однако, чтобы это было сделано не в солнечный день.

Настал, наконец, и этот день, тихий и туманный, какие довольно часто бывают в это время года; после завтрака Перрина весело отдала приказание Бастьену запрячь Коко в фаэтон.

— Сейчас будет готово, барышня, — как-то странно улыбаясь, отвечал старый слуга.

Перрина удивленно взглянула на него, но ей некогда было спросить, что это значит: старика нужно было хорошенько закутать, а лучше внучки никто не сумел бы этого сделать.

Когда экипаж был подан и они вышли на крыльцо, Перрина медленно стала спускаться с лестницы, придерживая за руку дедушку, и была уже на последней ступеньке, как вдруг ужасный рев заставил ее повернуть голову.

Но что это значит? В фаэтон запряжен не Коко, а осел. Да это Паликар, и какой

нарядный! Гладко вычищенная шерсть его так и блестит! А какая на нем чудная желтая сбруя с голубыми колокольчиками! Осел, завидев Перрину, неистово ревел и рвался к ней, несмотря на все усилия грума, который старался его сдержать.

— Паликар! — и девочка обняла голову осла и поцеловала его. — Ах, дедушка, спасибо тебе, какой сюрприз!

— Этим ты обязана не мне, а Фабри, который выкупил его у Ла-Рукери; все служащие непременно хотели сделать этот подарок своему бывшему коллеге.

— У господина Фабри доброе сердце!

— Да, да, и странно только, что это не пришло в голову твоим двоюродным братьям. Я заказал в Париже тележку для Паликара, и ее пришлют через несколько дней; фаэтон слишком тяжел для него.

Они сели в экипаж, и Перрина взяла в руки вожжи.

— С чего же мы начнем?

— Как — с чего? Конечно, с шалаша! Я хочу видеть гнездо, где ты жила, как птица.

Шалаш оказался в том же состоянии, в каком его оставила в прошлом году Перрина, и только остров выглядел еще более диким, еще гуще зарос зеленью.

— Как это странно, — заметил господин Вульфран, — в двух шагах от Марокура ты жила в такой глуши, жизнью дикарки.

После шалаша старик пожелал осмотреть ясли в Марокуре. Он думал, что хорошо знал их, потому что целыми днями обсуждал с Фабри детали устройства яслей, но оказалось, что действительность была гораздо лучше, чем можно было предполагать. Громадные, светлые залы для детей постарше, спальни для маленьких, кухня, ванные — все это было так хорошо устроено, столько вложено было в это труда и любви к тем, для кого это предназначалось, что самый строгий посетитель не нашел бы ни в чем изъяна.

Дети весело кинулись к Перрине, показывая ей свои игрушки: один держал трубу, другой лошадку, девочки протягивали ей свои куклы.

— Как я вижу, тебя здесь хорошо знают!.. — улыбнулся господин Вульфран.

Когда после обхода всего здания они вернулись в приемную, там одна женщина кормила своего ребенка; увидев вошедших, она подняла дитя и поднесла его к господину Вульфрану.

— Посмотрите на него, господин Вульфран, не правда ли, славный ребенок?

— Конечно, да... славный мальчик...

— И все это благодаря вам.

— В самом деле?

— Да, я уже схоронила трех детей, а этот живет... и этим он обязан вам... Да сохранит вас господь, вас и вашу внучку!

После яслей были осмотрены все остальные вновь возведенные здания, сначала в Марокуре, а потом в других деревнях.

Наступала уже ночь, когда они возвращались домой. Когда экипаж переезжал холмы, откуда открывался вид на весь Марокур, господин Вульфран, протянув вперед руку, торжественно проговорил:

— Все эти здания — дело рук твоих, дорогая моя; я слишком отдался делам и без тебя не подумал бы о них. И как не похож этот объезд моих владений на наши прежние объезды!.. Те были совсем другие... Но для того, чтобы это продолжалось и развивалось, тебе нужно будет найти мужа, достойного тебя, который работал бы и для нас, и для всего этого бедного люда. И я надеюсь, что мы встретим человека с хорошей душой, такого, какого нам нужно. Тогда мы проживем счастливо... в семье.